

Михаил Арцыбашев

У последней черты



Михаил Арцыбашев
У последней черты

«Public Domain»

1912

Арцыбашев М. П.

У последней черты / М. П. Арцыбашев — «Public Domain», 1912

«Маленький городок был расположен в степи, и тому, кто, выйдя за околицу, вглядывался в марево дальних полей, в призраки отдаленных лесов, ползущих по горизонту, и в высокое бесстрастное небо, становилось ясно, что ничтожность кучки людей, живущих, страдающих и умирающих на земле, не красивая трагическая фраза, а простая и даже скучная правда. Летом горячее солнце стояло над степью, зимой она одевалась холодным белым саваном, в жаркие ночи над нею вставали горы туч, и гром торжествующе прокатывался из конца в конец черного простора, но всегда она была одинаково уныла, загадочна и чужда человеку...»

© Арцыбашев М. П., 1912

© Public Domain, 1912

Содержание

Часть первая	5
I	5
II	9
III	13
IV	16
V	22
VI	26
VII	27
VIII	31
IX	38
X	45
XI	52
XII	54
XIII	61
XIV	62
XV	67
XVI	72
Конец ознакомительного фрагмента.	73

Михаил Петрович Арцыбашев

У последней черты

Часть первая

I

Маленький городок был расположен в степи, и тому, кто, выйдя за околицу, вглядывался в марево дальних полей, в призраки отдаленных лесов, ползущих по горизонту, и в высокое бесстрастное небо, становилось ясно, что ничтожность кучки людей, живущих, страдающих и умирающих на земле, не красивая трагическая фраза, а простая и даже скудная правда.

Летом горячее солнце стояло над степью, зимой она одевалась холодным белым саваном, в жаркие ночи над нею вставали горы туч, и гром торжествующе прокатывался из конца в конец черного простора, но всегда она была одинаково уныла, загадочна и чужда человеку.

Когда подымался ветер, в степи вставала мелкая сухая пыль и мертвым полчищем серых призраков неустанно шла на город. Она бесшумно садилась на крыши и окна домов, ложилась на стоячие воды реки, покрывала весь город мягким безвольным налетом, и тогда он казался таким же старым и ветхим, как мир. Все было в нем однообразно и убою, как кучка праха, не развеянного ветром.

Именно в таком сером городишке прежде, чем среди зеленых деревьев, розовых гор, синих морей и великолепных зданий, могла зародиться мысль, впоследствии вышедшая в мир и пронесшаяся по лицу земли, как бледный зловещий призрак смерти.

Скала, брошенная в море, исчезает бесследно, но маленький камешек на поверхности стоячего пруда далеко разгоняет неизбежные круги. И то, что каждый день незаметно свершается в грохоте большой жизни, здесь до дна всколыхнуло души и поколебало многие умы.

Позже искали и нашли причину в лице некоего Наумова, нового инженера на заводе местного богача Арбузова. Возможно, тень этого сумрачного человека легла на жизнь, и, действительно, в развитии событий, в их ускорении он играл большую роль. Но, глядя вокруг открытыми глазами, нельзя не видеть, что никакая человеческая воля не может ни на йоту прибавить, ни на йоту убавить того, что есть в жизни, что развивается из корня, выросшего в самую глубину земли, и что раньше или позже, так или иначе, должно привести к неизбежному концу.

В тишине обыденной жизни, в кропотливой суете вековых укладов давно уже зрела эта странная и страшная катастрофа, но еще за три-четыре месяца до нее все казалось так обычно, и никто не сказал бы, что вокруг происходит иное, чем то, что было вчера. Городок изнывал от жары, тихо, мертво и скучно шла обычная жизнь.

Безнадежно и озлобленно скучал и маленький студент Чиж, торопливо бежавший с одного урока на другой.

Старый белый картуз с выцветшим синим околышем по самые уши сидел на его остром черепе, под которым неустанно суетились мысли. Вот уже два года, как, высланный из большого города, он застрял в этом городишке, без всякой надежды когда-нибудь выбраться, и потому ненавидел его всеми силами души, до тоски, до боли. Где-то, рассыпая миллионы искр, стоя и грохоча в муках и восторгах, куется великая боевая, человеческая жизнь, а здесь, точно от начала веков, никто не слышал громкого слова, не видел открытого живого лица. Не то они спят, не то притаились, не то и не живут вовсе, а так, просто копошатся, словно кучка червей, брошенная в пыль у края дороги.

Солнце стояло прямо над городом, и воздух дрожал от жары, струясь вдоль заборов зыбкой угарной дымкой. Жалкие скелеты акаций на пустынном бульваре беспомощно свесили свои костлявые ветки, и под ними, чуть живая, лежала их убогая высохшая тень. Почти все окна были закрыты от солнца ставнями, и чувствовалось, как томительно задыхаются за ними от зноя и скуки потные, вялые, не думающие, не чувствующие люди. Все как будто вымерло, и даже воробьи не чирикали. Чиж, обливаясь потом, бежал по бульвару и ругался:

– Черти зеленые!.. Надо же было выстроить город в таком проклятом месте... Другого угла не нашли, подумаешь!.. Кто их тащил сюда?.. Ведь есть же на свете и леса, и реки... так нет же, точно назло... Идиоты несчастные!

Злоба душила его, и хуже всего было то, что злоба была беспредметна. Чиж лучше кого-нибудь другого понимал сложную сеть необходимости, которая тащит человека и не в такую пустыню. Если бы его спросили, Чиж, не задумываясь, ответил бы, что и не в этом дело, что человек может жить везде, оставаясь человеком в самом широком и богатом смысле этого слова. Но что-то давило его, становясь между ним и солнцем, вместо будущего показывало какую-то серую пустоту и вызывало в нем постоянную нервную злость, источавшую яд на все окружающее.

С другого конца бульвара навстречу Чижу шел человек в форменной фуражке. До того пусто и мертво было кругом, что даже неприятным казалось живое человеческое лицо среди пустой обширной базарной площади, на которой неподвижно стояли красные кирпичные лавки и белые, точно добела раскаленные солнцем церкви с огромными замками на тяжелых, словно навеки запертых железных дверях.

Несмотря на близорукость, Чиж еще издали узнал знакомого казначейского чиновника Рыскова. Рысков шел медленно, как будто совершенно беззаботно и даже легкомысленно помахивая палочкой. Чиж поравнялся, равнодушно взглянул на желтое длинное лицо с лошадиными зубами и маленькими бесцветными глазками, приподнял картуз и побежал дальше. Рысков, помахивая палочкой, пошел в одну сторону, а Чиж еще больше заторопился в другую. Им нечего было сказать друг другу.

Если бы маленький студент внимательнее взгляделся бы в лицо Рыскова, он поразился бы его выражению: маленькие тусклые глазки казначейского чиновника смотрели неподвижно, но в них застыла напряженная, окаменевшая мысль. И размеренное движение его длинных ног, и неподвижность приподнятого лица были мертвы и жутки, как у автомата. Казалось, он идет и вечно будет идти, как заведенная машина, пока чужая воля не остановит его и не уберет с дороги, как никому не нужную, глупую заводную игрушку.

Но Чижу все надоело в этом проклятом городе. Ему казалось, что ничего здесь не может быть, кроме самой мирной обывательской пошлости. Притом он искренне презирал Рыскова, как презирал всех людей, живущих вне круга его убеждений. Лицо казначейского чиновника только вызвало у него новый прилив скучающей злости.

«Ведь вот, живет тоже!.. – с машинальным раздражением подумал Чиж, вытирая пот с побледневшего лба. – И поди, подумаешь, что великое дело делает!.. Целый день в поту, с мухами, пишет черт его знает что, сгибается перед казначеем, уважает старшего бухгалтера... Потом гуляет по бульвару с девицами, пока не осчастливит одну из них и не родит полдюжины новых казначейских чиновников и даже – о, счастье! – одного старшего бухгалтера... А кой ему черт этот старший бухгалтер?.. И как он не удавится, черт его знает...»

Чижу казалось, что он не выжил бы и трех дней такой жизни.

А озлобленные мысли стремительно бежали дальше, и сам Чиж почти не замечал их: «Хоть бы что-нибудь!.. Хоть бы землетрясение, что ли!.. Ведь бывают же где-то землетрясения... Говорят, катастрофа... кой черт! Не катастрофа, а благодать: дома валяются, земля колыхается, женщины бегут нагишом, все забывают о том, кто они и почему и в каких смыслах... Тут тебе и самопожертвования, и грабеж... там кого-то спасли, там кого-то под шумок изна-

силовали... весело!.. Я землетрясению рад был бы, а не то, что бы там... Катастрофа! А это не катастрофа, что миллионы людей впадают в состояние трупов?.. Тьфу!»

Чиж даже плюнул от злости и неожиданно остановился.

«Рано еще к купеческим чадам... Зайти к Давиденко, что ли?»

И еще не решив, стоит ли, Чиж машинально свернул в переулочек, отворил калитку и вошел в большой, заросший пыльной травой двор.

И сразу стало ему так скучно, точно перед этим было ужасно весело. Он даже хотел повернуть обратно, но так бывало каждый день, и, как всегда, Чиж тоскливо махнул рукой и по протоптанной в траве дорожке с брезгливым видом пошел к голубому облупленному флигельку, стоявшему в самой глубине двора. Где-то под амбаром залаяла собака, но не вылезла на жару. Три курицы и один петух, нахохлившись, сидели в тени под забором. За флигелем сонно торчали пыльные деревья сада.

Чиж вошел в темные сени, нашарил ручку двери и, не постучавшись, шагнул в большую грязную комнату, где было прохладно и тихо, как в погребе. Бросились ему в глаза две небрежные кровати с грязными скомканными простынями, бутылки пива на подоконнике, окурки, растрепанные книги и еще какой-то хлам, терпеливо выглядывавший из-под метлы, брошенной прямо посреди комнаты.

Два студента сидели за столиком и молча сосредоточенно смотрели на шахматную доску. Их косматые головы были низко склонены, широкие молодые плечи повисли от долгого сидения.

– Опять сидят, проклятые хлопцы! не то шутя, не то с искренним негодованием сказал Чиж, ставя палку в угол. – Не надоело еще?

Оба шахматиста подняли головы, не глядя, протянули руки и опять устали в свои шахматы.

– Да и жара, черт ее возьми! Пива дадите? – спросил Чиж, снимая картуз и вытирая побледневший от жары и усталости лоб. Мокрые волосы слиплись и торчали у него на голове нелепым птичьим хохолком, как у настоящего чижики.

Один из игроков молча ткнул пальцем в бутылки на окне и что-то переставил на доске.

– Здорово! – ленивым басом заметил другой. Чиж налил себе полный, чуть не с верхом, стакан пива и долго, запоем, тянул вкусную холодную влагу. Даже в горле у него забулькало от наслаждения.

– Ух, хорошо! – сказал он, обтирая мокрые усы. – Давиденко, газеты получил?

– Эге, – не глядя, отвечал широкоплечий и красивый студент, на широких плечах которого полинялая ситцевая рубашка лежала как облитая. Точно под ней были не плечи человеческие, а могучие мускулы чугуновой статуи.

– Мишка, где газеты? – настойчиво приставал Чиж, которому было скучно и досадно, что другие заняты, когда ему нечего делать.

Худой Мишка поднял светловолосую умную голову, посмотрел задумчивыми и немного грустными глазами в потолок и сказал:

– Под кроватью.

Чиж плюнул, демонстративно полез под кровать, вытряхнул из газетных листов окурки и сор, сел у окна и стал читать.

Было совсем тихо, и та громоздкая, крикливая жизнь, о которой кричали газеты, была далеко от этой пустой грязной комнаты. За окном шевелились ветки, зеленые тени ходили по потолку. Где-то близко вопросительно чирикнул воробей и, точно удивившись чему-то, замолчал. Чиж шелестел газетой, Мишка и Давиденко молча смотрели на шахматную доску. Маленькие точеные фигурки на доске имели странный и загадочный вид, и похожие, и не похожие на каких-то таинственных человечков, живущих своей особенной, серьезной, правильной и сложной жизнью.

Чиж читал сосредоточенно, привычной рукой ловко переворачивая большие листы. Иногда он наливал себе пива, медленно выпивал, глубоко погружая в пену усы, и опять углублялся в газету.

Перед ним в коротких печатных строках разворачивалась пестрая и тяжелая жизнь большого мира. Живому воображению Чижа, затерянного в маленьком сонном городке, она представлялась ярко и отчетливо. Читая, он как будто бы видел перед собой всех этих журналистов, которые пишут, крестьян, которые голодают, депутатов, которые спорят, палачей, которые вешают, и императоров, которые торжественно и чинно, как в балете, раскланиваются друг перед другом.

Все еще тянулась эта огромная шахматная партия, в которой победа переходит из рук в руки и в которой, как бы ни было безнадежно положение той или другой стороны, смутно, но неизбежно намечается постоянная вечная ничья.

Но маленький студент не видел этого серого итога. Ему казалось, что колесо истории не кружится, а катится вперед, все сокрушая по пути. Он был убежден, что жизнь человеческая только вчера и сегодня, может быть завтра, имеет такой хаотический безнадежный характер. А там придет какая-то великая волна, смоем без следа все старое и грязное, и воцарится стройное, математически справедливое счастье, в котором и он, маленький высланный студент, крохотный смертный человек, имеет какую-то свою долю, свой смысл и свой долг.

И все, что совершалось в эту минуту, все, о чем с пеной у рта кричали газеты, волновало и возмущало его. – Черт знает что такое... Давиденко, ты читал: в Самаре... – громко и возбужденно начал Чиж.

– Э! Черт!.. Опять прозевал! – с досадой сказал Мишка и задвигался на стуле, ероша свои спутанные светлые волосы.

– А ты не зевай, не в бабки играешь, – заметил Давиденко.

Чиж с досадой и укоризной посмотрел на них, презрительно пожал плечами и налил пива.

– Что тут ему сделать хорошего? – раздумчиво говорил Мишка, делая мечтательные глаза. Он подумал, почесал за ухом, что-то переставил на доске и сказал очень нерешительно:

– Шах!

Чиж вздохнул. Ему вдруг показалось, что повешение в Самаре семи человек вовсе уж и не такое большое дело. Представились эти семь человек вроде Рыскова, Мишки и Давиденко. Уныло и скучно глянули на него их лица, и мелькнула почти неосознанная мысль, что если их повесили, то и черт с ними.

Маленький студент сложил газеты и встал с брезгливым видом.

– Ну, я пойду, – сказал он, ни к кому, собственно, не обращаясь, и взял из угла свою палку.

Игроки не подняли голов.

Синенький дымок вился над ними, напоминая струйки погребального ладана. Зеленые тени беззвучно ходили по потолку, точно колдуя.

Чиж опять перешел заросший пустынный двор, опять услышал вялый собачий лай, посмотрел на трех кур и одного петуха под забором и, выходя на улицу, машинально подумал:

«А потеют ли куры?»

Эта мысль заняла его до странности. Он долго старался припомнить, мысленно перелистал кучу книг, попытался взять логикой, потом воображением, и только придя к выводу, что куры должны потеть, но потная курица – вещь совершенно нелепая, опомнился, с бешенством плюнул и выбежал из переулка.

II

Стало как будто еще жарче. Воздух дрожал и горел белым огнем. Казалось, вся земля притаилась, не смея пошевелиться под ужасным солнечным гневом. Чиж еще не успел выбраться из переулка, как пот уже назойливо и липко побежал со лба, повис на ресницах и едкими струйками покатился на губы и обвисшие усы. В глазах потемнело, в висках застучали твердые молоты. Чиж пришел в отчаяние.

– Удавиться, что ли, на время!

И решил зайти в клуб.

Белый двухэтажный дом клуба был пуст и прохладен. В раскрытые двери библиотеки стройными рядами виднелись как будто никому не нужные книги. За стеклами строго блестели их золотые названия и сурово смотрели в пустые залы. В карточной выжидательно зеленели ломберные столики. Было тихо, как в церкви, и только в буфете отрывисто звякали тарелки. Чиж повесил картуз на вешалку, где висела только одна, хорошо знакомая шляпа доктора Арнольди, и через зал, мимо тонконогих ломберных столиков пошел в столовую.

Доктор Арнольди был там. Графинчик водки стоял перед ним, и огромная, задышающаяся от жары туша доктора в чесучовом просторном промокшем под мышками пиджаке поглощала что-то жирное, облитое сметаной и жидким хреном. Туго завязанные на затылке концы накрахмаленной салфетки торчали, словно кабаньи уши.

– Здравствуй, доктор, – сказал Чиж. Доктор Арнольди что-то пропыхтел, подал толстую мягкую, как у архиерея, руку и спросил, показывая глазами:

– Водки?

– А ну ее!.. В такую жару да еще водку пить! – с негодованием отмахнулся Чиж.

– Одну? – пропыхтел доктор.

– Нет, спасибо! – с решительным отвращением покривился Чиж, взял стул и сел против доктора.

В открытое окно ему был виден обширный пожарный двор. Оттуда душно пахло разопрелым навозом и пыльным сеном. Под длинным навесом стояли бочки с беспомощно задранными оглоблями и, казалось, тоже изнывали от жары. Ярко блестел на столбе медный колокол, и длинная веревка висела из него, точно высунутый язык.

– Жарко, – произнес Чиж.

– Да, тепло... – пропыхтел доктор и постучал о тарелку.

Заспанный лакей, взлохмаченный так, словно его только что крепко оттащали за волосы, метнулся было от буфета, но по дороге вспомнил, что требуется, и, вернувшись за стойку, принялся заливать сметаной новую порцию холодного поросенка.

– Скажите, доктор, – начал Чиж скучающим и даже придиричивым тоном, – неужели вам еще не надоела эта чертова дыра?.. Ведь вы уже лет десять тут торчите...

– Семнадцать, – поправил доктор, вываливая на тарелку ногу поросенка и обильно смазывая ее сметаной.

Чиж досадливо двинул скулами и отвернулся. Хотя ему вовсе не хотелось есть, но слюна все-таки зашекетала во рту. Он посмотрел на пожарный двор, потом на огромного, задышающегося от собственной тучности доктора и задумался. Беспредметная грусть шевельнулась в нем.

Доктор Арнольди налил рюмку водки, долго, прищуривав один глаз, рассматривал ее на свет и сказал с непонятым выражением:

– Некуда идти...

– Как некуда? – взвизгнул Чиж. – Да отсюда хоть в Сибирь!

– Нет, в Сибири еще хуже, – равнодушно возразил доктор Арнольди.

Чиж смешался.

– Ну, не в Сибирь, конечно... Но... Ведь вы человек одинокий, в средствах, кажется, не нуждаетесь... поехали бы за границу, что ли.

– Чего я там не видел? – сказал доктор Арнольди, вытирая салфеткой жирные, бритые, как у старого актера, губы.

– Как чего? Ничего вы не видали!

– Все видел, – лениво пропыхтел доктор.

– Например?

– Да все, что есть... ну, людей, театры, железные дороги... я все видел.

– Надеюсь, вы не хотите сказать, что видели всю вселенную? – задорно спросил Чиж.

– Пожалуй, – хладнокровно согласился доктор.

– Вот те и раз! – с искренним удивлением воскликнул Чиж, любопытно посмотрел на доктора и засмеялся.

Доктор Арнольди отодвинул тарелку, аккуратно сложил салфетку и сделал в сторону буфета что-то, очень похожее на масонский знак. Должно быть, здесь все знаки доктора Арнольди были понятны, потому что лакей моментально подал бутылку пива.

– Выпьете? – спросил доктор.

– Пива выпью с удовольствием! – согласился Чиж.

Доктор налил два стакана, и, пока он наливал, оба внимательно смотрели, как в запотевшем стекле желтыми огоньками заиграла вкусная, холодная, как лед, влага. Даже как будто стало прохладнее.

– Так видели вселенную? – развеселившись, спросил Чиж.

Ему хотелось посмеяться над доктором.

– Видите ли... – с полнейшим отсутствием какого-либо оживления в маленьких, заплывших, но умных глазках ответил доктор Арнольди, – вселенную я, конечно, не обозревал... для этого надо слишком много времени и труда... Но у меня есть о ней некоторое представление, ну, и достаточно с меня...

– Ну, нет... этого слишком недостаточно! – уверенно и с чувством превосходства возразил Чиж. – Дело не в общем представлении, а в самых деталях жизни и природы... Красота именно в разнообразии красок, форм, обычаев... Вы этого не понимаете?

– Я все понимаю, – равнодушно возразил доктор Арнольди, – но только в моей фантазии и то больше разнообразия.

– Как?

– Да так... просто. Что же там? Море всегда синее или зеленое, а я могу представить себе море хоть во все цвета радуги... Есть вот такое поэтическое описание черного озера, в котором жили зеленые русалки... озеро было бездонное... что ж!.. Говорят, Эверест в восемь верст вышиной, а я могу себе представить гору в сто раз больше Эвереста... В сказках бывают хрустальные замки, молочные реки, говорящие птицы... что ж.

– Ну, сказки! – протянул Чиж брезгливо.

– Все равно... Радости мало, – махнул рукой толстый доктор. Чиж подумал.

– А люди?... Другие порядки, нравы, типы... Вас это не привлекает?

Нет, – вяло ответил доктор Арнольди, – какие там порядки?... Везде борьба за существование и тому подобное... знаю. Старая штука на новый лад, а я не ребенок... И везде одинаково скверно и по-своему скучно... да и не по-своему, а так, вообще скучно.

– Так что, для вас все одинаковы?

– А что ж? Конечно. Всякий человек смертей, и всякий не удовлетворен своей жизнью, а потом... ну, один носит цилиндр, другой лапти, третий нагишом ходит... не все ли мне – равно.

Чиж с негодованием слушал толстого доктора, и его острое птичье лицо выражало презрительное сожаление о мертвом человеке.

– Ну, хорошо... – как бы уже снисходя до продолжения разговора, сказал он, – а культура?.. Вон там уже летают... вы знаете?

– Летают?

– Да! – самодовольно ответил Чиж, точно успехи воздухоплавания от него зависели.

– Ну и пусть себе летают. Все равно далеко не улетят...

Доктор сказал это таким безнадежно скучным тоном, что Чиж потерял всякую охоту продолжать разговор.

Все это было ему совершенно чуждо и непонятно. Он даже не поверил искренности доктора.

«Просто лень российская, матушка, одолела!» – брезгливо подумал он.

Для маленького студента жизнь была кипение, а природа – неисчерпаемая сокровищница богатства и красоты. Как бедному человеку, не видевшему другого дворца, кроме полуразвалившегося дома разорившегося барина, кажется, что на свете не может быть ничего богаче и красивее, так Чижу казалось, что земля с ее голубенькими морями, кудрявыми деревцами и розовенькими горками есть венец красоты и величия. Мысль его ползала по земле и не могла подняться ввысь, туда, где безграничные пространства, вечный кристальный холод, миллиарды сверкающих светил и великая, могучая неподвижность вечности.

И унылая бессмысленная человеческая жизнь возбуждала в нем преклонение. Голова его горела, когда он думал о борьбе народцев с их крошечными, собственной глупостью вздвигнутыми деспотами, о науке, строящей кораблики и врачующей волдыри, об искусстве, изо всех сил старающемся приблизиться к природе. То страстное, в сущности мало понятное ему самому волнение, которое испытывал он, мечтая о новых формах жизни, обреченных в свое время так же уйти в туман прошлого, как миллионы прежде бывших, казалось ему истинной мудростью. Чиж думал, что, если бы не случайные обстоятельства, если бы он мог жить среди каменных домов, вблизи железных дорог и большого количества людей, в его существовании не было бы пустого места, не заполненного переживаниями высшего порядка и делами громадной важности на счастье человечества.

Теперь жизнь его была бесцельна, глупа и скучна, но в том, что она проходила, как туман над степью, по его мнению, была виновата не она, а маленький городок, жандармы, толстый доктор...

Чиж внимательно, точно увидев в первый раз, посмотрел на доктора Арнольди, сонно тянувшего холодное пиво, и подумал:

«А ведь был человек!.. Говорят, десять лет в ссылке провел... Где все?.. Толст, обжирается поросенком под хреном, пьет пиво и походя спит... Есть ли у него хоть мысли какие-нибудь, или это так, одно простое бормотание?.. Неужели несколько лет провинциальной тины могут так затянуть и исковеркать человека?..»

И Чижу вдруг стало жутко. Он припомнил, что порой ему самому все становится в высокой степени безразлично, и бывают дни, когда не хочется ни читать, ни говорить, ни работать, ни думать.

«Опускаться начинаю!» – с внутренним холодком подумал он. – Надо взять себя в руки».

И вспомнил еще, что забыл передать Давиденко литературу для партийных рабочих с арбузовского завода.

Доктор опять налил пива, но Чижу вдруг опротивело все: и доктор, и пиво, и заспанный лакей, и пожарный двор, мирно дремлющий под солнцем. Он встал и протянул руку.

Просто вы соня, доктор, и больше ничего! Ему было приятно последнее слово оставить все-таки за собой.

Доктор Арнольди ничего не ответил, только поднял на него свои заплывшие умные глазки. В глубине их как будто мелькнуло что-то ироническое. Но так мимолетно и тонко, что Чиж даже не заметил.

Когда маленький студент опять бежал по бульвару, его обогнала пролетка доктора Арнольди. Толстый, грузный доктор неподвижно сидел на маленьком сиденье и, опершись обеими руками на палку, казалось, спал.

Пыль тяжелой тучей подымалась за колесами и долго не садилась.

«Все-таки к больным-то ездит! – машинально подумал Чиж, вспомнил, что все больные хвалят доктора и даже с нежностью вспоминают о нем, и примирение решил: – Несчастный человек, конченный чудак, а все-таки лучше многих».

III

Чиж ходил из угла в угол и усиленно курил толстые папиросы.

Комната была маленькая, душная, с одним окном, с голыми, грязными, точно заплеваными, стенами. Чижа оскорбляло то, что для классной была отведена комната самая плохая во всем обширном купеческом доме. И за это он глубоко презирал и этот каменный неуклюжий дом, и амбары, полные рыбой и дегтем, и безвкусную венскую мебель, и цветы на окнах, и самих хозяев, пузатых короткошеих людей, насквозь пропахших рыбой и медными пятаками.

В открытое окно вместо воздуха густо шел прелый запах воблы и дегтя. На большом, окованном крепкими амбарами дворе, точно на ярмарке, было пестро и крикливо: неповоротливо ворочались могучие лошади битюги, громоздкие телеги, широкоспинные, похожие на людей каменного века возчики, оглобли, бочки и пудовые кули с рыбой. Брань, крик и гул стоном стояли над двором, и казалось, что самому воздуху тут трудно, и он туго ворочается в пыли и жаре, скрипя, как огромное неподмазанное колесо.

Чиж со своими греками, физикой и географией казался здесь таким маленьким, чужим и ядовитым, как червячок, забравшийся в крепкую, пахнущую землей и навозом, ядреную репу.

Он нервно курил свои папиросы, злобно поглядывал в окно и, напрягая тонкий резкий голос, чтобы перекрычать гомон на дворе, переводил:

– Леонид с тремястами спартанцев занял Фермопильское ущелье...

И с ненавистью смотрел на два розовых, круто выстриженных затылка с торчащими, прозрачными, как у поросят, ушами. Лицо его было бледно, истомлено, со старческими брезгливыми морщинками в уголках рта, а птичий хохолок на лбу смок и обвис.

И чернильные пятна на грязных мальчишечьих пальцах, и греки, и собственный ненужный голос – все ему надоело до чертей. Не то, чтоб он думал, а уж слишком ясно чувствовал, что греки с их творческой боевой жизнью интеллигентных дикарей совершенно чужды этому потному купеческому двору, где им отвели место много хуже, чем дегтю и тарани.

Пройдет время, розовые затылки станут жирными и плотно осядут на воловьей шее, уши мясисто завьются, как у кабанов, выпачканные в чернилах пальцы осмолятся в заскорузлый кулак, и греки, носители культуры, мечтатели о грядущей славе человечества, с ужасом и отвращением не признают своих потомков в этих толстобрюхих, низколобых и злых животных.

И надорванный голос Чижа, старавшегося перекрычать шум, как будто жаловался кому-то.

Он зашел сзади и через плечи учеников смотрел в их тетради. Там убого и грязно ползли расплывчатые каракули, и в них трудно было признать яркие, живые человеческие слова.

«Точно талантливые обезьяны пишут!» – подумал Чиж с отвращением.

Кто-то постучал в дверь.

– Войдите, – отозвался Чиж.

Заглянула сестра его учеников, полная хорошенькая девушка с мягкими серыми глазами и пухлыми наивными губами.

– Можно к вам? – спросила она и вошла, не дожидаясь ответа.

– Пожалуйста! – сквозь зубы буркнул Чиж и продолжал заниматься.

Он не любил ее посещения, да и вообще не любил этой девушки, уже за одно то, что она – купеческая дочь. Чиж ненавидел купцов. Он даже не замечал, что она как бы чужая в этом доме, хотя и знал, что именно она и настояла на том, чтобы мальчишек отдали в гимназию.

Должно быть, ей пришлось вести долгую упорную борьбу со своим папашей, желавшим пустить парней прямо по торговой части. И теперь, очевидно полагая, что на ней лежит ответственность, она постоянно заходила в классную, тихо усаживалась перед окном, оперев голову на круглую белую руку, и задумчиво смотрела на широкий двор, часами высиживая в душной

скучной комнате. Этот молчаливый и бесполезный надзор раздражал Чиж, и он с ненавистью смотрел на девушку.

«Черт!.. Быть бы тебе простой крестьянской девкой, ходить босиком по жнивью, жать да полоть, да жарко любить какого-нибудь здоровенного парня с волосами в кружок и со стальной гребенкой на веревочном пояске! – думал он о ней. – Там бы ты была на месте, здоровая девка, и работница, и роженица, а то на... Кончила, черт знает зачем, гимназию, прочла три десятка романов и сидит паразит паразитом, не зная, куда себя девать... Разопрет тебя, как дегтярную бочку... дура полосатая!»

И странно, именно потому, что у нее были такие наивные серые глаза, легкий загар на стройной свежей шее и губы, мило подымавшиеся над белыми зубами, когда она смеялась, Чиж раздражался еще больше.

Мальчишки сопели носами, ерзали на стульях и пачкались в чернилах. Чиж ходил из угла в угол, курил и злился. А девушка сидела у окна, смотрела в небо наивно-ласковыми серыми глазами и неизвестно, думала ли о чем.

Со двора уже съезжали последние подводы, и откуда-то потянуло свежим воздухом, точно там, на дворе, открыли форточку в тенистый сад. Наконец Чиж посмотрел на часы и сказал:

– Ну, будет...

Мальчишки ожили. Куда-то полетели грязные тетрадки, на столе моментально образовалась обширная лужа чернил, в которой сейчас же покончила жизнь какая-то глупая муха. Старший брат выскочил в окно, младший хотел что-то спросить, но только глупо разинул рот и скромненько убрался за дверь. Чиж собрал свои книги и, взяв старый картуз с синим околышем, подошел прощаться с девушкой, все так же задумчиво сидевшей у окна.

– До свидания, Елизавета Петровна, – сказал он. Девушка медленно протянула ему руку и подняла светлые глаза. К своему удивлению, Чиж увидел в них какое-то странное выражение: девушка как будто хотела что-то спросить и не решалась. Даже краска выступила на ее лице, отчего она вдруг стала юнее.

– Вы уже уходите? – спросила она, очевидно, совсем не то, что хотела, и покраснела еще больше.

– Да, – ответил слегка удивленный Чиж. И сейчас же рассердился.

– Не ночевать же мне тут!

Его несколько не заинтересовала и не тронула эта девичья застенчивость, внезапно обнаружившая в этой полной спокойной женщине молоденькую, о чем-то мечтающую, чем-то взволнованную девушку. Чижу только досадно стало, что его задерживают. Ему смертельно хотелось на воздух, хоть немного отдохнуть от уроков, начинающих ранним утром и кончающихся, когда солнце садится и из степи потянет вечером.

«Уж не влюбилась ли она в меня?» – насмешливо подумал маленький студент, и циничное представление об ее крепком, свежем теле родилось в нем.

– Я хотела вас спросить, – заторопилась девушка и вдруг совершенно спокойно и даже безразлично закончила: – Вы знакомы с художником Михайловым?

– Знаком, – с недоброй усмешкой ответил Чиж и подумал: «И эта туда же... Везет человеку!»

Но девушка как будто не заметила его нехорошей улыбки, провела рукой по волосам и, глядя прямо ему в лицо чистыми наивными серыми глазами, сказала:

– Говорят, это какой-то особенный, интересный человек. Правда?

– Особенных людей нет, а если и есть, так не здесь! – сердито ответил Чиж.

– Ну, все-таки...

– Да что ж... Молодой человек приятной наружности, в газетах пишут, что талантливый, глаза черные, Дон Жуан большой...

– Дон Жуан? – задумчиво повторила девушка.

Чиж внезапно рассвирепел.

– Для уездных барышень, конечно! Таких Дон Жуанов у нас пруд пруди! В каждом телеграфном отделении сидят... Им и название у нас есть более подходящее: сердцеед! Не столь красиво, но выразительно!

– А правда ли, что одна барышня застрелилась из-за него? – спокойно спросила девушка. Чиж взбесился окончательно.

– Может, и из-за него... Я почему знаю? Есть вещи более интересные, Елизавета Петровна, чем собиранье городских сплетен на потеху скучающих дам! Мало ли дур на свете!.. Очень просто: сделал ей, извините за выражение, ребеночка, да и на попятный... Герои, черт их дери!.. Другого дела нет... А впрочем, черт с ними!.. До свиданья, – внезапно оборвал Чиж.

Он нарочно выражался так грубо и, если бы посмел, выразился бы еще грубее, чтобы испугать и оскорбить эту праздную здоровую девушку, ждущую любовных радостей, и всех праздношатающихся шалопаев, которые только и могут, что соблазнять наивных провинциальных девиц. Он ожидал, что девушка обидится, сконфузится, но она только чуть-чуть повела круглыми плечами и, спокойно глядя ему в лицо задумчивыми серыми глазами, сказала:

– А вы его не любите, однако!.. До свиданья.

– Мое почтение! – сердито рванул ее руку Чиж и выскочил из комнаты, как рассерженный воробей.

А девушка еще немного посидела у окна, задумчиво глядя на небо, уже загоревшееся яркими красками заката. Потом встала, сделала два шага и вдруг, далеко закинув за голову круглые, с розовыми локтями руки, потянулась долго и истомно. Наивные серые глаза чуть прикрылись, и под опущенными ресницами промелькнула странная лукавая искра. Но сейчас же и погасла. Девушка опустила руки и пошла из комнаты.

IV

Доктор Арнольди, таяко опираясь на палку, вошел во двор.

Грузное большое тело его устало влеклось по земле, точно он нес на плечах непомерный груз. И в согнутой спине его, и в массивном тяжелом черепе было что-то трагическое, говорящее о законченной жизни и глубокой, до сердца дошедшей усталости. Казалось, ему не двор перейти, а, как вечному жиуду, надо долго, долго идти по бесцельной дороге, без конца, без смысла и радости светлого отдыха. На обрюзгшем жирном лице не было иного выражения, кроме равнодушия, в котором, казалось, нет уже места ни тоске, ни желаниям, ни сожалениям.

Старая цепная собака, понуро сидевшая у своей будки, только почесалась и позвенела цепью при виде доктора Арнольди. Она привыкла уже видеть его каждый день и, должно быть, давно причислила эту медленную, грузную фигуру к вещам, не имеющим никакого значения в жизни.

Дворик был маленький, уютный, и ярко светило в него далекое солнце. В палисаднике пестрели пышные, с любовью и трудом взращенные клумбы, но цветы были запылены, переломаны и придавлены как бы громадной тяжелой ногой, неуклонно направившей свой страшный путь к этому дому. И у самого крыльца, загораживая дорогу, стояло на виду, очевидно, вынесенное проветриться, деревянное кресло-судно, выкрашенное грубой черной краской. Откровенно и цинично зияла его круглая дыра, точно бесстыдная глумливая гримаса. Доктор Арнольди машинально взглянул на него, но не остановился и поднялся на крыльцо.

Дверь была не заперта, и доктор, привыкший к этому, сам отворил ее. В передней, где было невыносимо душно и жарко, никто не встретил гостя. Доктор медлительно повесил шляпу на гвоздь, поставил в угол свою толстую палку и прошел дальше. Наивная старенькая гостиная обняла его унылым молчанием и запахом пыли. Везде было тихо, точно вымерло, только большая черная муха почему-то злобно вилась над круглым столом и во всем дворе разносилось ее грозное, тоскующее жужжание.

Доктор Арнольди заглянул в другую комнату. Там было только одно окно, и выходило оно, должно быть, в стену или на галерею, потому что в мягком сумраке тонули письменный стол, кресло и пыльные шкафы с толстыми книгами. Как будто какие-то смутные тени безмолвно колыхались по углам, а на белесом фоне тусклого окна черным силуэтом выделялась седая облезшая голова, глубоко ушедшая в кресло и опущенная на руки, закрывшие лицо.

– Иван Иванович! – негромко позвал доктор Арнольди, стоя на пороге. Голова не шевельнулась. Жидко просвечивали седые волосики, и мертвенно-синеватые блики блестели на тонких, до косточек высохших пальцах.

– Иван Иванович! – вторично, громче позвал доктор.

Жуткой тишиной повеяло от этой неподвижной человеческой головы с костистым мертвым затылком. Что-то страшное, похожее на смерть было в ней. Но это еще не было смертью, и когда доктор Арнольди пригляделся, он увидел, как жалкий седой пух на лысом черепе тихо шевелится от дыхания.

Доктор вздохнул и нерешительно повернулся прочь. Но в соседней комнате послышались скорые шажки, и маленькая женщина с седыми волосами и скорбным личиком вошла в гостиную.

– А, это вы, доктор! – сказала она, посмотрела в полутемную комнату и махнула рукой.

– Все то же? – спросил доктор Арнольди. Старушка опять махнула рукой, и бесконечная скорбь и усталость были в этом слабом, безнадежном движении. Но она все-таки подошла к сидевшему в кресле старичку и тронула его за плечо.

– Иван Иванович! Доктор пришел... Голова не шевельнулась.

– Доктор пришел, Иван Иванович, – повторила она.

Голова неровно и дрожа задвигалась. Повернулось заросшее седой небритой бородой лицо, и тусклые слезящиеся глаза взглянули на доктора.

– А-а!.. – раздался чуть слышный, похожий на стон голос, и больной, срываясь и дрожа, торопливо стал подыматься.

– Сидите, сидите, – сказал доктор Арнольди, но седенький Иван Иванович уже поднялся на ослабевших негибающихся ногах, и его полумертвое лицо искривилось приветливой улыбкой.

Эта улыбка была страшна: в ней была за сердце хватающая борьба прежней, разумной деликатности с полной беспомощностью и жалким старческим стыдом за свою слабость и убожество.

Старушка бережно подхватила его под руку, и тонкие косточки, болтающиеся в старом черном сюртуке, дрожа, шагнули в гостиную. Так, как пошел бы, с жестоким комизмом облеченный в строгий профессорский сюртук, старенький скелет из анатомического театра.

Он сел в кресло, а толстый большой доктор грузно уселся перед ним на стул и смотрел внимательно и серьезно.

– Ну, как вы себя чувствуете?

Иван Иванович опять виновато и жалко улыбнулся.

– Как же мне себя чувствовать? Скверно. – Appetit есть?

– Да, ничего... ем много.

– Какое там! – скорбно махнула рукой маленькая старушка.

– Нет, отчего... я ем... – вдруг обиделся старичок, и голос у него задрожал, как у обиженного ребенка. – Вот, ел сегодня суп и эти... как это называется... ну, вот... эти... первые цветочки...

Доктор Арнольди с недоумением посмотрел на старушку.

– Землянику, – подсказала она и улыбнулась не то конфузливо, не то страдальчески.

– Ну, да... землянику... поправился старичок и долго растерянно двигал пальцами худых рук, лежавших на коленях, стараясь показать, что это он так, только случайно спутал и не придаст этому никакого значения.

Доктор Арнольди молчал и пытливо смотрел на него, точно видел, как там, внутри, разрушается дряхлый человеческий организм, как идет таинственная работа смерти, как потухает мозг, слабеет зрение и тихо останавливается столько бившее старое усталое сердце. И вспомнил он при этом, как еще студентом он в первый раз наблюдал под стеклом микроскопа возникновение живого организма в разлагающейся ткани. Перед его внимательным, еще удивленным взглядом в маленьком поле микроскопа, окрашенном по краям странной радугой, что-то вертелось со страшной быстротой, все ускоряя и ускоряя свое безумное движение. Маленький мирок, вертящийся вокруг своей оси. Почему-то было жутко и хотелось остановить это страшное микроскопическое движение. И когда наконец полупрозрачный червячок разумно и живо задвигался под стеклом, червячок живой там, где только что была одна смерть, червячок, которого только что нигде не было, доктору Арнольди стало и страшно, и радостно, и грустно. Он не мог бы передать своего чувства, не мог бы объяснить его, но было в этом что-то больше его, нечто такое, перед чем собственная жизнь вдруг потеряла всякий смысл. В тот вечер студент Арнольди пошел и напился пьян мертвецки.

– Ну, что интересного? Это, как его... а, что? – вдруг заговорил Иван Иванович, и слезящиеся, плохо видящие глаза его поднялись на доктора со странным неестественным оживлением.

Доктор Арнольди понял этот тоскующий взгляд, понял, как хотелось умирающему человеку уцепиться за что-нибудь, хоть в любопытстве сохранить связь с неудержимо уходящей жизнью.

– Что ж, ничего интересного нет, все по-прежнему... – затрудненно и чересчур разделяя слова, ответил доктор.

Ему хотелось отвечать как можно естественнее и проще, завести обыкновенный пустой разговор, чтобы больной не заметил, что к нему относятся уже не как к здоровому и разумному человеку. Но слова не шли с языка, и голос звучал напряженно и фальшиво. Не было уверенности, что старик поймет, а в то же время было как-то страшно не ответить ему, старому профессору, имя которого не прошло бесследно и книги которого когда-то учили понимать жизнь и самого доктора Арнольди.

– Ничего? – повторил Иван Иванович и задумался, как бы с недоверием.

Доктор Арнольди внимательно смотрел и ждал. Но Иван Иванович вдруг суетливо и раздраженно задвигался.

– Что тебе, Иван Иванович? – спросила старушка, не спуская с него преданных, скорбных глаз.

– А что же мы с доктором... будем есть эти, как его... пер... трел... – старичок сделал страшное усилие, чтобы вспомнить, жалко-виновато взглянул на доктора и нерешительно закончил: – Лисички, кажется?..

Видно было, какой глубокой тоской и мучительным недоумением полно его старое умирающее существо, делавшее тщательные усилия овладеть костенеющим мозгом, и было и больно, и жутко, и смешно смотреть на него. По толстому лицу доктора прошла болезненная судорога.

– Землянику, – опять подсказала старушка.

– Да... вот... – и, подняв на доктора глаза, Иван Иванович сказал с непередаваемым выражением тоски и мольбы: – Вот видите, какая память стала!

– Чего там – память! – как будто с досадой возразила старушка. – Просто ты болен, жар у тебя, ну, и ослабела память. Вот поправишься...

– А, Боже мой! – раздраженно вскрикнул старичок. – Какое тут – поправишься... Я ведь не ребенок! – И с тоской добавил, обращаясь к доктору: – Не думал я дожить до такого состояния!

Наступило долгое и нудное молчание. В тишине опять стало слышно, как зловеще гудит над столом черная муха, и душно было так, точно груди не хватает воздуха. Иван Иванович сидел, подперев рукой свою облезлую голову, и чувствовалось, как мучительно и страшно крутится в этой умирающей голове бедная, слабая человеческая мысль, мигающий огонек, готовый погаснуть в вечном мраке. Доктор Арнольди молча смотрел на него, как будто старался проследить за этой мыслью до конца и понять, хоть раз, что же именно чувствует человек знающий наверное, что умирает с каждой минутой.

Старушка встала и тихо поманила доктора за собой.

Они неслышно прошли в другую комнату и сели там. Умирающий остался один.

– Четвертый месяц вот так! – заговорила старушка унылым безнадежным голосом. – Что же это такое, доктор?

Доктор Арнольди слабо пожал плечами.

– Что ж... имеет человеческая жизнь свой предел... – серьезно и устало отозвался он.

– Ну, да, я понимаю... Но зачем же именно так? Ну, заснул бы человек и не проснулся. А то ведь он мучается как!.. Ведь он, доктор, сознает прекрасно, только не говорит... Знаете, доктор, это, конечно, ужасно, что умирает близкий человек... ведь мы прожили вместе сорок два года... но я перенесла бы все... Самое ужасное, это то, что умирает... я не могу этого объяснить, но вы понимаете... Какое это унижение видеть, как любимый близкий человек обращается в... Вы представляете себе: у него появилась мания ездить по магазинам и делать какие-то покупки... И эти улыбочки приказчиков, эти сострадательные взгляды знакомых... Господи! Как странно теперь вспомнить, что я жалела тех, кто умирает молодым, и

молила Бога, чтобы мой муж дожил до самой глубокой старости... Какие это были глупые, бессмысленные молитвы!.. Понимаете, мне странно это вспоминать! Понимаете, какой ужас... нет, я не умею этого выразить!..

– Я понимаю! – тихо ответил доктор Арнольди. Старушка остановившимися глазами долго смотрела прямо перед собой, крепко, почти конвульсивно сжав сморщенные руки.

– Господи, и кому нужны эти страдания! – выговорила она про себя.

– Не знаю... – машинально, как эхо, отозвался доктор Арнольди.

И в тишине, наступившей после его слов, как бы получилось властное дуновение чьих-то неисповедимых крыл.

Потом старушка начала опять, голосом слабым, похожим на дребезжание мухи, запутавшейся в паутине:

Устала я, доктор!.. И никто этого не может понять. Но ведь и я человек... и мои силы имеют предел!.. Она жаловалась на то, что никто не в состоянии понять весь ужас ее горя, горя женщины, обреченной изо дня в день, без надежды и просвета, жить с полутрупом, видя, как разлагается тот, кто наполнял всю ее жизнь, как существо высшее, единственное для нее во всем мире. Это была пытка, какой еще не выдумала человеческая жестокость; равно было бы положить живого в гроб вместе с трупом и оставить его там навсегда, чтобы он видел, как разлазится тело, как ползут жирные черви, как сочится гной, как обнажается череп и улыбается во тьму могилы. И никакие слова не могли выразить этот ужас, чтобы другие поняли ее и пожалели.

Скорбь ее была глубока и искрения, но странно, доктору Арнольди казалось, что она чего-то недоговаривает. Когда ей выражали сочувствие, она так же сердилась и раздражалась, как и тогда, когда равнодушно отворачивались от ее вечных и бесполезных жалоб. Чего-то нужно было ей. Чего-то, в чем она сама не признавалась себе. И главный ужас был в том, что как бы ни было ей жаль умирающего, как бы ни обливалось кровью сердце при мысли о его близкой смерти, а измученное тело и настрадавшийся дух хотели покоя. И невольно, как бы даже тайно от нее, требовали, чтобы он скорее умер и дал ей отдохнуть. И она боялась этого чувства, торопясь уверить и других, и себя, что этого не может быть, что ей только больно, что ее оставили одну с больным.

– Главное, выхода нет, доктор... выхода нет!

– Выход всегда есть, – устало сказал доктор Арнольди. – На свете только-то и хорошо, что все так или иначе кончается... рано или поздно.

Старушка с испугом посмотрела на его равнодушное обрюзгое, как у старого актера, лицо.

– Ну, да... я знаю... – заторопилась она, чтобы он не сказал страшного слова. – Все кончится... Но зачем же страдания?..

– Не знаю... – так же односложно повторил доктор.

– Ведь то, что мы перестрадаем... Из гостиной послышался слабый короткий звук, точно сердито задребезжала лопнувшая пружина.

– Зовет! – с какой-то странной укоризной сказала старушка.

– Полина Григорьевна! – звал больной.

Они встали и пошли в гостиную.

Старичок-профессор сидел прямо, ухватившись за ручки кресла худыми пальцами, бесильно высунувшимися из широких рукавов сюртука. Он обиженно смотрел на них испуганным, подозрительным взглядом.

– Что, наговорилась? – с детской злостью спросил он.

– О чем я говорила? Так, о пустяках, Иван Иванович... – ласково и виновато возразила старушка.

Иван Иванович подозрительно смотрел на нее и жевал провалившимся ртом. Ему чудилось, что все смеются над ним, выжившим из ума стариком, и по углам толкуют, скоро ли он умрет. Что-то еще, самое страшное, мерещилось ему, но ослабевший мозг не мог понять что и страдал бессильным одиноким страданием.

– Тут кто-то был? – тревожно проговорил он.

– Кто же тут был? Доктор был...

– Доктор? А, это вы, доктор... А я не узнал. Скажите, доктор, вы были вчера на собрании нашего общества? Какие дураки! И все толкуют о бессмертии... Точно я прошу их об этом! Как вы думаете?

– О чем ты говоришь, Иван Иванович? – с тоской спросила старуха.

Но старичок не слушал ее и продолжал смотреть прямо на доктора возбужденным и как будто совершенно сознательным взглядом. Черный туман низко спустился на его мозг, и в нем, судорожно путая давно прошедшее с настоящим, металась ослабевшая мысль.

Точно заблудившаяся птица в море, в тумане, то падая, то взлетая.

– Если они хотят, то я выйду на улицу, вот таков, как есть, и пусть все смотрят... Хорошо?... А?... Это хорошо, доктор?

– Да, это очень хорошо, – спокойно согласился доктор Арнольди. Выражение его лица было совершенно равнодушно, и тем ужаснее звучала невольная ирония его слов.

– Так хорошо? – повторил старичок и торжествующе засмеялся, подмигнув доктору, точно своему единомышленнику, который один понимает, какую хитрую штуку он придумал.

– Да, хорошо.

Доктор Арнольди с усилием понимал этот спутанный, как будто совершенно бессмысленный, но на самом деле полный ужасного смысла бред. Он смотрел на развалину когда-то умного, чуткого, мыслящего, гордого своей мыслью человека, в котором бессильно погасала последняя искорка духа, и видел, какую жалкою является мечта о человеческом бессмертии. Аляповатой, смешной картиной, самоучкой намалеванной на занавесе, за которым скрывается черная пустота, пестрели перед ним Бог, загробная жизнь, мировая душа. Кучка разлагающегося праха, догорающая свеча, и больше ничего. Можно было толковать о религии, верить в бессмертие, пока работал ум и тело жило полной жизнью. Но теперь, когда явно, на глазах, человек обращался в умирающее животное, в идиота, комок внутренностей и хрупких косточек, все эти мысли были так же комичны и нелепы, как бабьи сказки о чертях и домовых.

Старичок задумался, опустив слабую голову на руки и закрыв глаза.

Доктор Арнольди уже думал уходить, как вдруг Иван Иванович поднял голову и прямо, сознательно глядя, сказал:

– Ах, если бы немножко силы! Ну, немного, хоть неделю... чтобы только отдохнуть... чтобы все вспомнить, чтобы руки не дрожали, ноги ходили... я... пошел бы за ворота, посидел бы на скамеечке!..

Доктор Арнольди невольно улыбнулся. Так было неожиданно это скромное желание умирающего. И, уже улыбнувшись, он подумал о том, как должна сузиться жизнь, чтобы желание пойти посидеть на скамеечке за воротами составляло несбыточную, недостижимую мечту. И почему-то доктору представилось, что если бы мог чего-либо желать Наполеон в своем Пантеоне, он мечтал бы, плакал и молился только о том, чтобы шевельнуть хоть одним пальцем навеки сложенных на груди мертвых рук. И опять судорога прошла по обрюзгшему лицу старого доктора.

Старушка смотрела, стараясь не мигать, полными слез глазами. И уже не было в них тайной мысли о скором отдыхе, а одна бесконечная трогательная жалость.

– Что ж, Полина Григорьевна, – заговорил доктор, вставая, – нового ничего. Продолжайте давать спермин... если будет жар, дайте аспирину... что ж...

Он хотел попроситься со старым профессором, но старичок, склонив лысую дрожащую голову на косточки мертвых рук, уже опять закрыл глаза. Доктору показалось, что из-под опущенных дряблых век бессильно светится дряхлая тоскливая слеза.

Полина Григорьевна проводила доктора и, пока он брал шляпу и палку, опять говорила о том, что она устала, что у нее нет сил, что ей хочется уткнуться головой в землю, ничего не видеть, не чувствовать, не сознавать. И оба понимали, что все слова бесполезны. Все слова, какие может выговорить человеческий язык.

В это время в переднюю решительно и как будто вызывающе вошла нарядная, полная и, видимо, беременная дама, а за нею щеголеватый рыжеусый офицер.

– Что вы все толкуетесь, мама! – звонко и возмущенно заговорила дама, небрежно здороваясь с доктором Арнольди. – Что об этом говорить? Это ваш долг. Тяжело? А что же делать! Старушка как будто испугалась. Стрдание забило ее.

– Я знаю, Лидочка, что долг... А все-таки тяжело.

Дама решительно и небрежно развела руками, и легкие кружева ее платья, нарочито широкого, чтобы скрыть ее беременность, опахнули всю комнату запахом духов и здоровой молодой женщины. Доктор невольно покосился на ее выпуклый, бесстыдно вылезавший живот, и не подумал, а почувствовал мучительное недоумение и стыд: как могут люди при виде этого ужасного конца, который ждет всякого человека, зачинать, вынашивать и рожать новую человеческую жизнь, новое страдание? И еще гордиться этим, как исполнением какой-то великой миссии! Было что-то наглое в ее ярком платье с намеками на обнаженность, в круглом крепком животе и в близости здорового, настойчиво следующего за ней мужчины.

«А ведь они совершают страшное преступление!» – вдруг пришло в голову доктору Арнольди, но он не удержал и не додумал до конца этой случайной мысли.

– И зачем вы выставили у крыльца эту гадость? – полусмеясь и морщась не то с досадой, не то с кокетливой фривольностью, бросила беременная женщина. – Как бы там ни было, а распускаться до такой степени...

– А что? – испуганно спросила старушка.

Очевидно, забыла и не сразу поняла.

– Ах, до того ли мне! – сказала она. Доктор Арнольди тяжелым взглядом проводил беременную женщину и вышел на крыльцо. Уже со двора он услышал звонкий и чересчур развязный голос:

– Ну, здравствуйте, папа! Как вы себя чувствуете?

И подумал с внезапным приступом тоски и отвращения: «А ведь все мы будем, будем же умирать!»

Солнце светило ярко; в саду драчливо чирикали воробьи; далеко, над крышами и деревьями золотился легкий купол колокольни, и видно было, как у старых карнизов сверкали серебряные голуби.

И опять бросилось в глаза доктору Арнольди черное уродливое пятно у крыльца. От него в нудном запахе человеческих испражнений смрадно и глумливо веяло дыхание смерти.

Тут все было кончено: жизнь, наконец, откинула все прикрасы, нагло вывернулась наизнанку, и то, что стыдливо пряталось по углам, вдруг торжествующе выдвинулось вперед и по праву заняло первое место, загородив дорогу и раздавив нарядные цветы.

Доктор Арнольди приостановился и, машинально протянув палку, тронул отвратительное деревянное чудовище. Палка отскочила с тупым стуком. Круглая, зловонная дыра насмешливо смотрела в голубое небо.

Доктор Арнольди опустил палку, согнулся и медленно пошел прочь.

V

Следующий визит был на соседней улице, и доктор Арнольди пошел пешком. Рыженькая кобылка, возившая его по больным, шагом тронулась по улице, и беловолосый Никита чинно сидел на козлах, совершенно с таким же видом, с каким возил доктора в клуб и сам ездил за водой.

Еще не спала жара, и улицы по-прежнему пыльно дремали под солнцем. Все так же были закрыты все ставни, и дома имели нежилой, выморочный вид. Даже странно было подумать, что за каждой стеной копошатся, смеются, целуются, плачут, что, если бы снять вдруг все крыши и заглянуть сверху, испуганный глаз увидел бы бешено крутящийся муравейник, не знающий ни минуты покоя. По всем углам, в каждой щели шевелились живые существа, несчастные, страдающие, в муках рождающие своих потомков, чтобы те страдали теми же страданиями и в муках звали какого-нибудь доктора Арнольди, будто бы способного дать им избавление от неизбежного.

И сколько их, с тяжким трудом спасенных от смерти сегодня, умирали завтра, только лишний раз переживая те же муки и тот же ужас смерти. Доктор Арнольди ясно видел, как ничтожна и бессмысленна его тяжелая работа, и давно привык делать свое дело без особого волнения. Удавалось ли ему помочь или больной умирал у него на руках, доктор Арнольди был ровно спокоен и шел к другому больному, как часовой мастер, который, осмотрев часы, спокойно берет за другой механизм. Только голова его с каждым днем становилась тяжелее, да лицо более устало.

Запыхавшись больше от своей толщины, чем от жары, он завернул в калитку, перешел маленький мещанский дворик, пахнувший кожей, и вошел в дом, где его ждали, как Бога.

Еще не старая женщина, с лицом испуганным и высохшим от вечных забот, встретила доктора отчаянным взглядом, и по этому знакомому выражению доктор Арнольди понял, что ребенку хуже. Впрочем, он и ожидал этого: в городе была эпидемия, смерть неслышно ходила из дома в дом, и маленькие люди, еще не узнавшие, что такое жизнь, задыхались и костенели крошечными трупиками, которые десятками относили за город и зарывали в песок. Там посадили елки, и молодые деревца год от года становились зеленее.

– Ну, как дела? – спросил доктор Арнольди, оглядываясь, куда положить шляпу.

В маленькой грязной комнате, пропитанной чадом и мылом, везде были навалены кучи грязного белья. Корыто с мыльной пеной пускало в потолок клубы жирного сладковатого пара. Горе и нужда из каждой тряпки, из каждой кучи грязи довольно смотрели, как выбиваются из сил сбившиеся, замотавшиеся люди.

– Хуже, господин доктор, хуже! – почему-то шепотом ответила женщина и машинально перехватила шляпу из медлительных рук доктора Арнольди.

– Ничего, не волнуйтесь, матушка!.. Бог даст, все будет по-хорошему, – не глядя пропыхтел толстый доктор и, тяжело вздохнув, переступил порог душной полутемной комнаты, из которой доносился знакомый прерывистый хрип умирающего.

У кровати, большой, с огромной периной, может быть, той самой, на которой был зачат и рожден этот умирающий ребенок, стоял молодой мещанин с блестящими глазами. Он встретил доктора тем же лихорадочным взглядом надежды и страха, метну лея, сронил на пол подушку и подал доктору стул.

Доктор Арнольди тяжело опустился возле кровати, подумал, точно собираясь с силами, и взял маленькую горячую ручку, которая сейчас же инстинктивно и бессильно стала вырываться у него. Ребенок чуть-чуть повернул мутные, незрячие глаза, вздрогнул и заметался сильнее. Еле слышный плач, похожий на писк маленького зверька в когтях совы, раздался в комнате.

Доктор Арнольди опустил ручку и задумался.

Ему уже не нужен был какой-либо осмотр: по этому судорожному метанию, по мутности глаз, по звуку дыхания он сразу увидел, что надежды нет, и остается прибегнуть к самым героическим мерам, без расчета на успех, только для очистки совести.

В маленькой, нежной, как у цыпленка, пятнами покрасневшей груди что-то мучительно дрожало и билось, как будто все тело содрогалось не от боли, а от ужаса. Голова, казавшаяся огромной, точно чужая, перекатывалась на тоненькой, будто лишенной костей шее, а крошечное личико было вздуто и красно. Невидимая костлявая рука медленно, с непонятной жесткостью все сильнее, точно тешась, сдавливала щуплое птичье горлышко.

– Да-а... – пробормотал доктор Арнольди в глубокой задумчивости.

– Что? – кинулась к нему женщина. Доктор тяжелым взглядом посмотрел в ее испуганные молящие глаза.

– Ничего, сказал он. Приготовьте горячей воды и сбегайте на Сумскую к фельдшеру Швейзону. Знаете?.. Пусть сейчас же идет сюда. Я говорил ему, он знает. Да...

Молодой мещанин с отчаянным видом схватил картуз и метнулся к двери.

– Э... Пойдите! – досадливо остановил его доктор Арнольди. – Там у ворот моя лошадь, возьмите ее. Скоро надо... Скорей!

Слышно было, как загремели колеса и стихли вдали.

Доктор Арнольди один остался над умирающим ребенком.

В комнате было тихо, душно и странно слышалось за окном дерзкое чириканье воробьев, не знавших, какое ужасное дело совершается в этой унылой, грязной комнате. Ребенок по-прежнему хрипел и катал по подушке свою тяжелую, каменную голову, со спутанными, слипшимися волосиками. Вздувшиеся легкие на части рвали его маленькую грудь; кровь, горячая, как кипяток, заливала мозг и давила крошечной болью; ручки и ножки судорожно корчились, точно он старался выбраться из какой-то ямы, не мог и бился в одном месте. Маленький человек не понимал, что с ним, и боролся, метаясь и стараясь вырваться, как котенок, придавленный бревном.

Иногда он как будто звал кого-то.

– Ма!.. – сдавленно и еле слышно пищал он, точно маленький воробей, выпавший из гнезда.

Должно быть, он ждал, что сейчас придет эта большая, добрая, теплая мать, которая все знает, повелевает жизнью и может защитить от всякой беды.

– Да, да... – машинально бормотал доктор Арнольди и то щупал пульс, то отходил к окну и долго стоял там, бессмысленно глядя на перелетающих воробьев.

Как всегда у кровати умирающих детей, чувства его были смутны и громадны.

Если бы доктор Арнольди, рискуя собственной жизнью, что он и собирался сделать, мог спасти или, по крайней мере, облегчить страдания, он не задумался бы ни на минуту и даже не придал бы этому особого значения. Если бы он знал, кто виновен в этой массе бесполезных страданий, он, старый доктор, с безбоязненным, открытым лицом, встал бы перед ним и проклял бы его. Ни смерти, ни суда, ни вечных мучений он не побоялся бы.

Но доктор Арнольди знал, что помочь нельзя и что ни проклятия, ни мольбы, ни доказательства не получают ответа никогда.

Так же будет всходить и заходить солнце, так же будет вертеться на гное расцветающая земля. Все бесполезно. Он, доктор Арнольди, может плакать или издеваться, просить или проклинать, может, наконец, разбить себе голову о стену, и все это будет так же бессмысленно, как вопли глухонемого в пустыне.

И было легче только от одной мысли: это маленькое существо, рожденное для страданий, умирает, еще не научившись бояться смерти, еще не познав прелести этой милой и проклятой человеческой жизни.

Доктор Арнольди посмотрел на этого странного паучка, корчившегося на постели, на его тоненькие червеобразные руки и ноги, кривую спинку, желтую налитую голову с тяжелым затылком и узким лбом.

– Да! – повторил он в раздумье.

Ясно, до мельчайших подробностей, представилась ему та жизнь, которую было обречено нести это жалкое, искривленное наследственными порчами существо. Какая это была бы бессмысленная, ничтожная, полная страданий жизнь, какое ужасное, обреченное на медленное вымирание должно быть его потомство!.. А эти странные паучки так живучи и плодовиты! Из этой комнаты, если бы смерть не вошла раньше, просочилась бы в мир струя такого гноя преступности, безобразия, тупости и бесконечного страдания, что доктор Арнольди даже сморщился от отвращения.

Вывод смутный и громадный назревал в тяжелом мозгу доктора, но сил не хватало довести его до конца. Другой человек, с умом ясным и смелым, сердцем твердым, потом сказал то слово, перед которым бессильно отступил доктор Арнольди.

Если бы у него, у старого доктора, была твердая воля, он поднял бы свою большую толстую руку и сказал:

– А Ты хочешь, чтобы это жалкое, не сделавшее тебе никакого зла, наивно радовавшееся каждому Твоему творению существо корчилось в неизбывных страданиях, пока муки не станут непереносимы и Ты не насладишься возможной мерой мучений, а я, разумный и свободный человек, воли которого даже и Тебе не сковать, могу одним движением вырвать жертву и разом оборвать Твою нелепую и злую потеху. Быть может, расчеты, не доступные уму человеческому, руководят Тобою... может быть! Но я не знаю и не признаю их!

Дверь тихо скрипнула, и бледная женщина робко вошла в комнату, как побитая собака, от порога устремив на доктора заискивающие, молящие глаза.

– Что? Фельдшер приехал? – очнувшись, спросил доктор Арнольди.

– Нету еще, не слышать...

Доктор посмотрел на ребенка и вздохнул.

– Воду я приготовила, господин доктор, – тихо сказала она, не сводя с лица доктора своих странных глаз и не двигаясь с места.

– Ну, и прекрасно, – пропыхтел доктор Арнольди.

– Господин доктор... – еще тише проговорила она и чуть шагнула к нему. – Господин доктор!..

– Ну, что? – с тоской спросил доктор Арнольди.

– Как Гришенька... поправится? – уже совсем еле слышно выговорили ее высохшие губы, и голос дрогнул, точно она поперхнулась каким-то другим словом.

Маленькие глазки доктора беспокойно заморгали.

– Будем надеяться... – неестественно развязным гоном ответил он.

Женщина недоверчиво смотрела на него, и доктору показалось, что глаза ее становятся все больше, больше, заполняют весь мир и глядят ему в самую душу. Он невольно встал, отошел к окну и стал пристально смотреть в расплывающиеся перед глазами зеленые пятна листьев.

«Какие большие листья!» – почему-то подумал он.

– Вы уж постарайтесь, господин доктор... Бог вам заплатит!.. – долетел до него чуть слышный шепот. – Один ведь у меня Гришенька!..

– Гришенька! – прошелестело в комнате, точно осенний ветер тронул сухие листья на могиле.

И в этом шелесте было столько муки и любви, что доктору даже странно показалось, как это минуту тому назад он думал о несчастной судьбе и безобразии этого Гришеньки, который хорошо делает, что умирает вовремя! Каков бы он ни был идиот, урод, злодей – для нее это был

только единственный Гришенька. В чуть слышном шепоте, в робких, молящих словах перед доктором встало такое колоссальное, такое могучее неодолимое чувство, что он почувствовал себя песчинкой перед ним и ужас ощутил в душе: в этой страшной ловушке навсегда была заложена неизбежность бесконечных мук, вечная живучесть страдания.

– Это ужасно! – пробормотал доктор Арнольди.

– Что?

– Да, ничего... вон, кажется, фельдшер приехал! – отозвался доктор и, словно убегая от вопросов, опять перешел к кровати.

А когда пришел фельдшер, он покорно снял пиджак, засучил рукава, забыл все свои мысли и опять принялся за тяжелую бесполезную работу, как каторжник, прикованный к тачке.

Он долго, внимательно и сосредоточенно мыл руки, клочьями разбрасывая мыльную пену, пыхтя и сопя. Бледная женщина подавала ему воду, и в каждом ее движении были видны робость и огромное уважение перед его великим знанием. Фельдшер, рыжий здоровый человек, ловко и деловито приготавливал инструменты, вату и бинты и делал это с таким видом, точно собирался показать какой-то замысловатый фокус.

Ребенок все хрипел и метался.

Наконец доктор Арнольди вымыл руки, пытливо осмотрел их, помахал в воздухе и подошел к кровати.

– Ну, вы!.. – пропыхтел он, качнув головой на мещанина и его жену. Мещанин сейчас же испуганно отскочил к двери, но худая заморенная женщина только повела на доктора молящими глазами. Такие глаза бывают у кошки, когда несут топить ее котят.

– Я вам говорю! – мгновенно раздражаясь, крикнул доктор Арнольди, но сейчас же опомнился и прибавил с глубокой жалостью: – Нет уж, голубушка, вы того... уйдите... А то я и сам волноваться буду... Дело такое. Пойдите, пойдите отсюда... Что можно будет, мы сделаем! – Тогда она покорно и тихо поплелась из комнаты. Только в дверях еще раз приостановилась и молча посмотрела на доктора, ловя его взгляд. Доктор Арнольди отвернулся.

Ребенок вдруг затих. Он словно почувствовал приближение чего-то страшного и в упор смотрел на доктора Арнольди мутными, невидящими, но как будто понимающими глазами. Даже дернулся в сторону, но сильные, покрытые рыжим пухом, как у мясника, руки фельдшера удержали его. Доктор медленно и осторожно коснулся тоненького, налившегося кровью, мучительно бьющегося птичьего горлышка. Узкое острие блестящего ножичка кольнуло, нажало и прорезало кожу. Мгновенно было омерзительное ощущение скрипящей живой ткани, и вдруг выступили красные бисерные капельки. Глубже врезался ножик, ловко минуя хрящи, и кровь струйкой потекла из-под толстых пальцев доктора Арнольди, обвивая шейку красным ожерельем. Ребенок замер, потом вздрогнул и весь задергался в мелкой дрожи, как кролик, которому просверливают череп. Маленькая трубка, пачкаясь кровью, легко вошла в темное, булькающее отверстие, и вдруг хриплое, свистящее дыхание прекратилось. Как будто во всем мире настала мгновенная тишина, и все замерло кругом в созерцании великой тайны.

Доктор Арнольди плюнул, и слюна, окрашенная кровью, густо и тяжело шлепнулась в воду.

Новое, ровное и спокойное дыхание, чистое, как воздух, послышалось в комнате, и было красиво и легко, как самая лучшая музыка, какую может слышать человеческое ухо.

Но доктор Арнольди был сумрачен. Глаза его смотрели пытливо и сурово. Он долго молча стоял над кроватью, потом коротко махнул толстой, явственно задрожавшей рукой.

Рыжий фельдшер быстро собирал инструменты.

Ребенок лежал смиренно, вытянувшись, покойно, положив ручки. Но личико его было бледно, и синеватая тень проступала на нем. Тише и тише слышалось его освобожденное дыхание.

VI

Уже вечерело, когда доктор Арнольди, потный и замученный, выходил со двора.

Солнце село, и чистые мягкие краски желтели на небе. Сады потемнели и стали уже не пыльными и сухими, а зелеными, полными сумрака и свежести. Ветерок мягко налетел на горячее лицо доктора, и милым холодком обвеяло его мокрый лоб. Новые, облегченно радостные звуки слышались со всех сторон. Точно тяжесть свалилась с земли и стало легче дышать. Где-то смеялись, кто-то перекликался звонкими голосами, с церкви звонили ко всеобщей. Все было красиво и радостно, как бывает только ясным вечером, после долгого, невыносимо жаркого дня.

Только за плечами доктора осталась душная темная комната, где в сумраке, быстро холодея, лежал маленький вытянутый трупик. Там уже, как черные мухи над падалью, юрко шныряли какие-то темные старушки, и в открытое окно слышался дикий, пронзительный, испуганный крик:

– Ой, Гришенька, мой Гришенька! Ой, матушки мои родненькие!..

И доктору Арнольди казалось, что везде тихо, тихо, и даже далекое небо со вниманием прислушивается к этому одинокому воплю.

У калитки его нагнал молодой мещанин. Его бледное, с клочковатой рыжей бородкой лицо было мокро, и глаза смотрели по-прежнему испуганно и отчаянно. Он, должно быть, даже не видел доктора и, что-то бормоча дрожащими губами, совал ему сжатый кулак.

– Вот... вот... вот... – бессвязно бормотал он. Доктор Арнольди машинально взглянул на его кулак и увидел зажатый угол бумажки.

– Э... зачем это! – с досадой сказал он, махнув дрожащей толстой рукой.

– Возьмите, возьмите... как же, трудились, мы понимаем... воля Божия... – совершенно бессмысленно повторил мещанин, продолжая совать свой черный, точно обугленный кулак.

Доктор Арнольди вдруг сердито насупился, урывком взял деньги и, быстро отвернувшись, пошел в калитку. Согнувшись так, точно боялся удара сзади.

Беловолосый Никитка встретил его глупой, заждавшейся улыбкой.

– Кончился? – спросил он, когда доктор уселся на заскрипевшее под его тяжестью сиденье пролетки.

– И ты, дурак, когда-нибудь кончишься... – машинально ответил доктор Арнольди и пихнул его в спину набалдашником палки.

Никитка весело засмеялся этой остроумной шутке и тронул рыженькую застоявшуюся кобылку.

Пыль тяжело поднялась за колесами, и, когда доктор быстро заворачивал за угол, в чистом вечернем воздухе еще долетел до него пронзительный, сверлящий небо крик: Ой, матушки мои родненькие!.. Ой, Пресвятая Богородица!

Пролетка завернула за угол, и все стихло, как не бывшее.

VII

Был совсем вечер, и далеко в степи погасала холодная зеленоватая заря, когда доктор Арнольди, усталый и угрюмый, заканчивал свои визиты.

Он давно уже перестал различать своих больных и равно уныло шел к детям, женщинам, старикам и молодым людям. Но месяц тому назад его позвали к больной актрисе, умирающей на родине, и как-то незаметно доктор Арнольди привык каждый вечер после всех визитов заходить к ней. Сначала он лечил ее, но болезнь была неизлечима, и он оставил. Только приходил, садился, как будто на минуту, не выпуская из рук шляпы и палки, и просиживал целые часы в тишине сумерек, под непрерывную тихую болтовню больной, мало-помалу привыкшей к нему и рассказавшей ему всю свою жизнь, бурную, нелепую жизнь актрисы.

И если что-либо важное задерживало его, доктору Арнольди уже недоставало этого тихого голоса, печальных глаз и той задумчиво-кроткой грусти, которая веяла на его усталую душу в комнате больной в тихие летние сумерки.

Как всегда, грузно опершись скрещенными руками на толстую палку и положив на них толстый, жирный подбородок, доктор сидел по одну сторону широко раскрытого в сад окна. По другую, в кресле, обложенная белыми подушками, сидела больная и тихо, торопливо, точно спеша высказать что-то неизмеримо важное, говорила:

– Какой вечер, доктор!.. Как хорошо!.. Мне бы хотелось умереть именно в такой вечер. Я больше всего боюсь, что умру ночью... Страшно будет, доктор!.. Ведь там, в могиле... будет темно... темно... Мне уже смешно чего-нибудь желать, не правда ли, а все-таки хотелось бы, чтобы последнее, что я буду видеть, было бы вот такое тихое погасающее небо... Как-то легче будет: день потихоньку умирает, небо темнеет, ну, и я умру... Я уже примирилась с этой мыслью, доктор... Вы не бойтесь, милый, я не буду плакать, как в прошлый раз. Зачем плакать, когда этим все равно не поможешь!.. Мне только страшно: мне все представляется, как меня отнесут на кладбище и заруют... Потом все уйдут по домам, а я останусь одна, совсем одна... Придет ночь, кресты будут стоять кругом, может быть, подыметесь ветер, а вокруг будет темно. Страшно, доктор! Я, конечно, знаю, что уже ничего не буду чувствовать тогда, но теперь мне страшно. Доктор, вы такой милый, добрый... Обещайте мне, что когда все уйдут, вы останетесь на кладбище и немного посидите со мной... Обещаете? Если я буду знать, что вы это сделаете, мне не так страшно будет.

– Я посижу, – сказал доктор глухо.

– Ну, спасибо! Я знаю, доктор, что вы не так скоро забудете меня, как другие... Милый доктор, отчего вы всегда такой угрюмый? Впрочем, это я глупости спрашиваю: разве можно болтать и смеяться, когда чуть не каждый день провожаешь кого-нибудь в могилу. А вы будете меня вспоминать, доктор? Это тоже смешно, что я говорю: ведь вы столько людей, верно, проводили на своем веку в могилу, что где же вам помнить всех!

– Я всех помню! – также глухо ответил доктор, и лица его, толстого большого лица, не было видно в сумраке.

– Да?.. Вот оттого вы такой и печальный! Знаете, доктор, вы добрый, страшно добрый и мягкий человек... Только несчастный. Вас многие считают тяжелым и неприятным человеком, я и сама сначала вас боялась. Но теперь мне кажется, что я вижу всех людей насквозь... как-то иначе, чем прежде. Вот, говорят, что умирающие начинают видеть и понимать такое, что недоступно здоровым людям... И вот я вижу ваше большое доброе сердце и знаю, что вам очень тяжело жить. Зачем столько страданий на свете, доктор?

– Не знаю, – ответил доктор Арнольди.

– Не знаю, не знаю... Никто не знает! – тихо, как будто про себя, повторила больная и на минуту замолкла.

В сумерках лицо ее казалось совсем белым, и на нем чересчур отчетливо чернели темные глаза. Большие скорбные глаза, с непонятым выражением смотревшие вверх, на широкое чистое небо, погасавшее над садом. Отблеск зари бледно ложился на ее впалые щеки и тонкие, еще красивые руки, бессильно лежавшие поверх пледа, которым были укутаны ее ноги.

– Доктор, – заговорила она прежним тихим и торопливым шепотом, – теперь я думаю только об одном, о чем никогда не думала, пока была молодая и здоровая... Зачем я была такая злая, придирчивая и жестокая? У меня была какая-то мания преследования, и сколько напрасного горя причинила я даже тем людям, которых сама любила. Мне все казалось, что все поступают несправедливо, все меня оскорбляют, хотят мной просто воспользоваться для своих интересов, а в сущности, меня никто не любит... Я никому не верила и за каждым словом искала какую-то тайную и непременно гадкую мысль... Боже мой, сколько было ссор, неприятностей, обид... Страшно вспомнить, сколько крови было попорчено, а из-за чего? Теперь я ясно вижу, какие все это были пустяки! Если мне и лгали, то что ж из того... да и лгали больше потому, что я не переносила правды, если она была мне неприятна... И потом, меня просто боялись многие, потому что я была страшно несдержанна и когда разозлюсь, готова была черт знает чего наговорить... мучила всех. Кто меня больше любил, того я больше всех и мучила!.. Что я такая была за особенная, чтобы для меня все переделались?.. Ведь если кто-нибудь тебя любит, надо благодарить за это, а я смотрела на это, как на какое-то свое право!.. А ведь сколько радости погибло из-за этого, сколько мучений пережила я сама!.. Зачем все это, когда можно было жить так хорошо, ласково, любовно! Знаете, когда теперь мне уж так мало осталось жить, как мне больно за каждую минуту, потерянную так глупо! Мне кажется, что если бы я могла передать, как больно, стыдно, досадно бывает перед смертью за все то, что сделаешь глупого и дурного в жизни, много зла исчезло бы!.. Но я не могу этого передать. Только иногда так бывает больно, что готова голову себе разбить о стену... да не воротишь!.. Ужаснее всего, что не воротишь!

Повернув свою большую тяжелую голову к окну, доктор Арнольди смотрел в сад. Кто-то неслышно ходил там под тихими деревьями.

– Что вы там смотрите, доктор?.. Это Нелли... знаете?

Доктор молча смотрел в окно и о чем-то думал. Больная прислушалась к тихим шагам в саду и сказала так тихо, точно боялась разбудить больного ребенка:

– Несчастливая она! Положение ее ужасное. Вы знаете сами, как у нас смотрят на эти истории. Впрочем, я и сама когда-то так смотрела. Только теперь, когда мало жить осталось, я много передумала, доктор, и понимаю, как несчастен человек, как мало у него радости и как жестоко осуждать его за что бы то ни было!

Она опять задумалась и тихонько перебирала край толстого пледа тонкими прозрачными пальцами, в которых осталось так мало жизни, что они казались восковыми.

Доктор Арнольди все молчал, и его грузная фигура черным пятном расплывалась в сумраке вечера.

– Бедная Нелли! – опять заговорила больная. – Ну, была минута увлечения... Кому она этим сделала зло?.. Можно подумать, что людям просто завидно видеть счастье и они хотят всеми силами добиться, чтобы все испортить и чтобы счастливых не было!.. Ну, сошлась, ну, родит ребенка... ну, и слава Богу. Так нет же... Выгнали ее отовсюду, из учительниц прощали... Что ж она будет делать, чем жить?.. На улицу идти?.. Этого, что ли, надо было? Ну, хорошо – я ее взяла, а если бы меня не случилось!.. Несчастливая девочка. Целый день возится с чем-то, работает, за мной ухаживает, а по вечерам ходит в саду... ходит и молчит, все молчит. Иногда поет про себя потихоньку. Так грустно бывает слушать ее. Иногда я плачу и думаю: ну, вот умру я, умрет Нелли, умрут все, кто ее презирал и преследовал, будут жить другие люди, которые даже не будут знать о нас... Зачем же такая коротенькая, маленькая жизнь еще

отравляется грязью и злостью? Мне бы так хотелось ее утешить, приласкать... Но она гордая страшно, даже от меня, умирающей, сторонится. Тяжело ей, доктор!

Доктор Арнольди издал какой-то короткий странный звук, точно у него в горле что-то пискнуло, и еще тяжелее опустил подбородок на руки. Больная взглянула на него скорбными, блестящими даже в темноте глазами, но ничего не увидела и опять заговорила:

– Грустно, доктор, жалко... Жалко себя, жалко Нелли, жалко этого неба, жалко умирать, доктор! И еще тяжелее, доктор, умирать одной. Когда я была на сцене, вокруг была масса людей, а теперь все забыли. Я не жалею, к чему!.. И опять-таки – сама виновата: я всегда хотела, чтобы меня любили такой, как я есть... пусть злая, пусть подлая, какая угодно! Ну, и любили только за то хорошее, что у меня было, – за красивое тело. А тело вот умирает, и у меня не осталось ничего, чем я могла бы привлечь к себе... Если бы вы знали, как я злилась, когда меня пробовали переделывать, просили, чтобы я не была такой раздражительной, требовательной и злопамятной... Ну, вот и расплата!.. Я даже не упрекаю Арбенина, что он меня бросил, когда я заболела. Он здоровый, веселый человек, любящий жизнь и женщин. Ему нужна любовница, а не пара умирающих печальных глаз... Что ж, я ведь не старалась, чтобы он полюбил мою душу, чтобы эта душа была достойна любви. Ну, и умру, как собака... Пусть. Когда-нибудь будет и он умирать, тоже, верно, забытый всеми... тогда он вспомнит обо мне и пожалеет... И ему будет так же тяжело, и он тоже поймет, что вся его жизнь была ошибкой!.. Ну, что ж, ничего не поправишь теперь... Одна так одна!.. Вот приехала на родину умирать. Никого у меня тут нет, а так, просто захотелось умереть на старом месте. Все мне здесь так знакомо, как будто я уже и не одна. Слишком было бы тяжело где-нибудь в санатории или гостинице... А я ведь, доктор, здесь в гимназии училась! Больная тихонько засмеялась.

– Как странно, что человек никогда не угадает своей жизни: думала ли я, когда ходила здесь девочкой, гимназисткой, с книжками и в черном фартучке, что буду лежать у этого самого окна, где учила уроки, такой большой, длинной, чахоточной бывшей актрисой!.. Или... А впрочем, я не умею этого высказать. Будет! Я все болтаю, все болтаю, а вы, доктор, должно быть, устали, да и тяжело вам слушать мою болтовню. Идите, милый, я, может быть, скоро засну. Идите.

Доктор Арнольди тяжело встал.

– Заходите же ко мне. Я знаю, что вы меня больше не лечите... Где уж тут, а так заходите, милый доктор...

Доктор Арнольди огромными пухлыми пальцами взял протянутую ему легкую слабую руку и вдруг, наклонившись всем своим неповоротливым, грузным телом, поцеловал бледные, умирающие пальчики.

Больная не удивилась, только засмеялась ласково и печально.

– За что?.. Ну, идите, милый... Бог с вами!

Доктор Арнольди тихо побрел из комнаты, а она осталась у окна, и все бледнее таяло ее лицо в белых подушках, при слабых отсветах потухающей зари. Точно стирался и бледнел какой-то нежный драгоценный рисунок.

На дворе было гораздо светлее, и как всегда, когда из темной комнаты выходишь на двор, доктор удивился, что еще так светло. Небо вверху только стало глубже, и первые звезды засветились робким, прозрачным блеском, как золотые льдинки. Из сада, пряно и сыро, плыло дыхание каких-то печальных, точно больных цветов, а под деревьями столпились первые молчаливые жуткие тени.

У самой калитки доктор Арнольди столкнулся с молодой женщиной. Она пугливо посторонилась, и доктор, проходя мимо, успел рассмотреть только темные глаза, жестко сдвинутые брови и блестящий, не то испуганный, не то грозный взгляд. Она неподвижно стояла под деревьями, в тени, пока доктор прошел, и проводила его странным взглядом, прижав к груди, к темному платью бледные тонкие руки.

«Это, верно, и есть Нелли...» – подумал доктор.

В калитке он невольно оглянулся.

Она все еще стояла на том же месте и, казалось, ждала, когда, наконец, он уйдет.

Доктор Арнольди поскорее закрыл калитку.

Вечер принарядил городок веселыми живыми огнями. Далеко, в городском саду, как каждый вечер, играла музыка, и в ту сторону то и дело проходили белые в сумраке барышни в светлых платьях и молодые люди с огоньками папирос и развязными, громкими голосами. В конце улицы был виден огромный, изнутри освещенный полог бродячего цирка и гирлянды разноцветных фонариков у его входа. Везде казалось весело и беззаботно.

VIII

Дома доктор Арнольди зажег свечу, снял пиджак и устало сел к столу, на котором уже кипел маленький самоварчик и одинокий стакан ждал своего старого господина.

В комнате было пусто и неудобно, как в номере плохой гостиницы. В голых стенах был затхлый запах старого холостяка. Кровать была слишком узка для такого большого толстого человека. На подоконнике мокли от сырости папиросные окурки, а пыль мягким слоем окутывала этажерку с толстыми зелеными книгами. В открытое окно влетали и вылетали ночные бабочки. Они стремительно кружились у огня свечи и ползали по скатерти, бессильно трепеща тонкими крылышками. Их непомерно большие тени, словно нетопыри, бесшумно мелькали по стенам, а за спиной доктора, перегнувшись на потолок, стояла его собственная огромная тень. И было похоже, будто кто-то черный и близкий наклонился над ним в безмолвном ожидании.

Из окна чуть плыл ночной холодок. Вытянутое пламя свечи колебалось, и в ее желтом восковом свете казалось, что усталое, обрюзглое лицо доктора делает странные гримасы.

Издали долетали звуки музыки. И хотя, должно быть, там играли что-нибудь такое же бойкое и пошное, как блеск разноцветных фонариков и закрученные усики полковых писарей, гуляющих с модистками, здесь, в комнате старого доктора, казалось, что музыка возвышенна, печальна и красива. Изредка громче долетал одинокий медный голос трубы, забирал все выше и выше и замирал где-то под звездным небом тоскливой зовущей нотой.

Доктор молча слушал эти звуки, стакан за стаканом пил крепкий чай со сладким вишневым вареньем и устало смотрел то на огонь свечи, то на свои толстые пухлые руки, то на ночных бабочек, кружащихся в неистовом танце.

Их было много, и все новые и новые прилетали из тьмы, стремясь к ослепительному, жестокому свету. Зеленые, белые, желтые и пестрые, маленькие, как лепестки крошечных цветов, и толстые, мохнатые, они то сидели на скатерти неподвижно, как бы в напряженном созерцании, то порывисто взлетали и страстно кружились в нестерпимом блеске страшного огня, то упорно описывали по столу странные, болезненные круги, с безумной быстротой колотя крылышками, которые уже не могли летать. Их напряженное неустанное движение создавало странную, таинственную суету, полную неслышного страдания и бесшумных порывов. А на стеарине свечи, слегка оплывшей от дыхания раскрытого окна, изуродованные и заплывшие, прилипли их крошечные трупки. Ни одного звука не было слышно в этой исступленной борьбе за жизнь с непонятным влекущим и сжигающим огнем.

Или, может быть, их просто не слушал зажегший свечу доктор Арнольди, каменное лицо которого молча смотрело на них сверху.

Кто-то быстро взбежал на крыльцо и с шумом распахнул дверь. Вспыхнула и заметалась свеча, и тревожно шатнулась гигантская тень на стене.

Доктор Арнольди, должно быть, хорошо знал, кто это, потому что не тронулся с места и только через протянутую за вареньем руку неторопливо посмотрел на дверь.

– Здравствуй, доктор! – громко и весело сказал гость, и голос его, точно целый аккорд звуков молодости, силы и радости, раскатился в тишине унылой комнаты.

– Чаю хотите? – вместо приветствия спросил доктор Арнольди.

– Еще бы! – так же громко и весело ответил гость, бросил на кровать белую шляпу и сел на стул против доктора. Сел, откинулся на спинку, засмеялся и молча уставился на доктора таким блестящим и возбужденным взглядом, точно видел его в первый раз и был поражен этим интересным курьезом. Что-то неудержимо играло и сверкало в больших темных глазах его.

Доктор Арнольди с привычностью старого холостяка достал новый стакан, основательно и медлительно вымыл и, налив крепкого, как пиво, чаю, подвинул гостю.

– Берите варенье... вишневое... – пропыхтел он.

– Вишневое? О, непременно! – ответил гость с комическим пафосом.

Доктор Арнольди угрюмо покосился на темные блестящие глаза, на белый лоб, на мягкие выющиеся волосы, на все это мужественное и милое лицо и вдруг стыдливо и ласково улыбнулся.

– Чего вы радуетесь, доктор? – сейчас же подхватил молодой задорный голос.

Доктор опять посмотрел и медленно пропыхтел:

– Пейте чай, Михайлов.

Он хотел сказать совсем не то: как хорошо быть таким красивым, молодым и беззаботным и как мне, старому угрюмому человеку, завидно и приятно смотреть на вас!

Но он не сказал этого. Вялый, унылый язык не повернулся.

Михайлов засмеялся.

– Ах, доктор, доктор!.. И не стыдно вам быть таким сычом?.. На дворе вечер, звезды, женщины смеются, а он сидит себе один, чай с вареньем пьет...

– Поживите с мое, – ворчливо возразил доктор Арнольди, – а тогда приходите на это место и потолкуем.

Михайлов посмотрел на доктора пытливым задумчивым взглядом, и прекрасное лицо его вдруг потемнело. Неясная тревога тенью прошла по блестящим глазам, и чуть-чуть дрогнули, как бы в темном предчувствии, красивые губы. Но он сейчас же тряхнул головой, засмеялся, и лицо его опять засверкало молодостью и жизнью, точно весенний ветер сдул случайную тучку.

Доктор Арнольди молча наблюдал эту мгновенную и резкую смену выражений, в быстроте и яркости которой была какая-то непонятная, влекущая прелесть, и подумал, что не в этой ли способности мгновенно и ярко отражать самые тонкие и глубокие движения души и кроется секрет того страшного обаяния, которым пользовался этот человек над женщинами. И вспомнил при этом доктор печальную Нелли: как она стояла в тени деревьев, крепко прижав к груди тонкие бледные руки, точно стараясь удержать в ней какую-то драгоценность. Вспомнил ее не то испуганный, не то грозный взгляд.

– О чем вы задумались? Что вы сегодня делали, доктор? – спросил Михайлов и неожиданно громко запел: – ... Что день, несем в могилу мертвеца!..

И прежде чем доктор успел ответить, заговорил быстрым и как будто не совсем уверенным тоном:

– Вот вы все упрекаете меня... А вам бы, казалось, и понять... что как ни живи, а конец один!.. Назад не придешь. Ну, и живи так, чтобы вся кровь кипела, чтобы ни одна минута даром не пропала, чтобы потом не пожалеть: вот, мол, мог взять от жизни и не взял. Э, доктор.

– А разве жизнь только в этом?

– В чем?

– Ну, в женщинах... – опуская глаза, пояснил доктор Арнольди.

– При чем тут жизнь! – засмеялся Михайлов. – Жизнь это факт, и притом довольно-таки скверный факт... А я говорю о радостях жизни, тех радостях, без которых вряд ли бы кто и терпеть стал эту штуку. А вы знаете, доктор, сколько радости может дать женщина?

– Ну! – неопределенно промычал толстый доктор.

– Не ну, а да!.. Вы этого просто не знаете и не понимаете, доктор, а то вы не были бы таким замкнутым, угрюмым человеком... Да вы что думаете?.. Не в самом половом акте тут наслаждение. Это только естественный конец, без которого было бы чувство незаконченности, неудовлетворенности. Это так, конечная степень близости, и все... А главная прелесть не в том.

– А в чем? – уныло спросил доктор Арнольди.

– Ну, как я вам, мертвому человеку, это объясню... Вот вы встречаете молодую красивую женщину... Сначала она для вас такая холодная, совершенно чужая, холодная... Вы можете ею любоваться, но коснуться не смеете. Все в ней для вас еще загадка – ее перчатки, ее голос, цветы на ее шляпе, шелест ее платья, глаза, в которых прячется теплая глубина, но которые

смотрят на вас, как сквозь ледяную стену... Ее красота не для вас, вы для нее – ничто, а с другим она не такая... теплая, полная ласки, страстная... И вот, повинувшись какой-то странной власти вашего желания, это таинственное, гордое и холодное существо начинает теплеть... С каждым мигом она становится ближе, понятнее, милее. В неувовимо тонкой игре, где вы нападаете, а она отчаянно защищается, то приближаясь, то удаляясь, она увлекает вас, наполняет всю вашу жизнь одним смыслом, одной целью. С каждым днем она раскрывается перед вами, как цветок, лепесток за лепестком, раскрывается навстречу солнцу, во всей своей бесстыдной прелести... И вдруг, в какой-то миг, которого никогда вы не поймете и не вспомните, она вся загорается, исчезает ее стыд, падает гордое, целомудренное платье, и во всей красоте остается перед вами одно горящее, горящее от счастья и муки нагое тело... Доктор, вы знаете прелесть и красоту женского тела?... И оно сливается с вашим в таком безумном, бешеном наслаждении, что весь мир отступает куда-то... вас только двое, вы для нее, она для вас... Ведь на этой игре основана вечная, прекрасная сказка о Галатее!.. А какая, доктор, глубина чувств и переживаний!.. Вы то плачете от ревности, то поете от радости, то готовы ее замучить на медленном огне, то ноги ей целовать!.. Пусть это и сумасшествие, но сумасшествие восторга!.. Какая красота – каждая молодая красивая женщина. Когда она вас любит, все окрашивается в тона ее любви. Весь мир кажется вам другим. Только тогда вы истинно живете, только тогда вы в самом деле видите, как солнце светит, как луна красива и таинственна, как хороши летние теплые ночи... Вы знаете, когда я был влюблен в первый раз, была весна... Только что начал таять снег... И вот, Бог знает уже, где эта девушка, а на всю жизнь осталось одно впечатление: бывало, я провожал ее домой ночью... и светло, и темно, где-то звенят ручьи, пахнет талым снегом и весенним упругим ветром... сколько лет прошло, а когда ночью я услышу запах талого снега, у меня сердце сжимается от невыносимо сладкой трогательной грусти... Хочется увидеть ее, приласкать, молча идти с нею по темным улицам... И плакать хочется, и молиться, и благодарить жизнь за то минувшее, далекое счастье!

Михайлов широко раскрыл глаза, точно видя перед собой что-то невидимое доктору, и молча загляделся на пламя свечи.

– Так-то оно так, сказал доктор Арнольди. – Только больно за эти радости платиться приходится...

– Ну, сказал Михайлов, – в жизни за все приходится платить... Было бы хоть за что!

Доктор помолчал и опять вспомнил бледную Нелли.

– А вы знаете, кого я сегодня видел? – нерешительно проговорил он. – Кого? – спросил Михайлов быстро, и по лицу его мелькнуло сосредоточенное, упрямое выражение.

– Эту вашу, как ее... Нелли... – не глядя, сказал доктор Арнольди и в замешательстве потянулся за вареньем.

Михайлов молча смотрел на него, точно хотел проникнуть в самую глубину его души.

– Девушка-то ведь погибла!.. – тихо закончил доктор.

Михайлов ответил не сразу, как будто борясь с чем-то.

– А, доктор! – почти со злостью сказал он. Ну, и погибла!.. Что значит, погибла?.. Мы были счастливы, ну, и слава Богу! Что ж, лучше было бы, если бы она засохла старой девой, без радости и воспоминаний, или вышла замуж за... какого-нибудь чиновника?.. Подумаешь, какую драгоценность потеряла!..

Доктор Арнольди молчал. Ему в самом деле показалось, что лучше уж было принадлежать Михайлову, красивому, любимому, страстному, интересному человеку, чем кому-либо другому.

– Да и кто в этом виноват? – опять заговорил Михайлов со странным ожесточением. – Я ее не обманывал, вечной любви не обещал... Она знала, на что шла...

– Увлелась... заметил доктор осторожно.

И я увлекся! – бешено крикнул Михайлов. – Это жертва не моя, а всего уклада жизни!.. Будь другая жизнь, ничего, кроме радости, в этом и не было бы... Пусть люди устроят себе иные порядки, если хотят быть счастливыми, а не требуют у меня снисхождения! Не ждате же мне, пока я сам умру?.. Я не понимаю и не хочу признать этою!..

– Вы же ее бросили... еще тише заметил доктор Арнольди.

– Я ее не бросал... Мне хочется жить. С какой стати я принесу свою жизнь кому бы то ни было в жертву?.. Женщин много, все они красивы, мне хорошо с ними, а я буду мучить, коверкать, притворяться, кого-то обманывать!.. Ей нужна была какая-то вечная любовь, у меня ее нет... ну, и разошлись... Вы знаете, доктор, я даже и теперь люблю ее, и мне больно, что она несчастна... Я никогда не забываю женщин, с которыми жил, и на всю жизнь сохраняю к ним нежность, но мне не по силам, да и не вижу я смысла убить свою душу, чтобы одна из них была счастлива... Да и какое счастье в этом?.. Зубами держать человека на привязи! Странное дело! Всю жизнь люди стараются связать себя попарно, ничего, кроме гадости, из этого не выходит, ни одного счастливого брака, ни одной вечной любви еще не получилось, а непременно надо и всех заставить так жить!.. Что мы, хотим, чтобы как-нибудь, прости Господи, ненароком, счастья не получилось где-нибудь, что ли?

– Ревность ведь тут играет большую роль...

– Ревность? – задумчиво переспросил Михайлов. – Да, конечно... Но только и рабство играло большую роль в человеческой психологии, да ведь победили же!.. А это хуже рабства! Это систематически калечило и будет калечить человечество... А тех, кто идет против этого рабства, самого скверного из рабств, потому что это одновременно рабство и души, и тела, и чувства, и всего, что есть в человеке... тех считают чуть не злодеями... Да что об этом говорить!.. Я хочу жить так, как живу, и буду!

Доктор понурил голову и позвенел ложечкой в стакане. Он ничего не мог возразить, потому что все возражения были мелки и пошлы. Какая-то смутная правда была в этом, и с нею спорить было нельзя. Только бесконечная цепь страданий представлялась ему, и странно было подумать, что такое светлое, яркое, живое чувство, такое захватывающее, вечное наслаждение ведут только к страданиям.

Михайлов молчал, и по его красивому лицу ходили мрачные ожесточенные тени.

Доктор Арнольди украдкой взглянул на него.

– Ну, хорошо, – сказал он, – пусть это все так, но ведь радость всегда будет отравлена чужими страданиями...

– А вы думаете, я не знаю этого? – странно спросил Михайлов, и явная судорога боли искривила его губы.

– Да... – пробормотал доктор Арнольди. – Можно ведь жизнь наполнить чем-нибудь другим...

– Чем?

Мало ли деятельности... Вот у вас искусство... Михайлов криво улыбнулся.

– Жизнь, должно быть, так устроена, доктор, что все, что ни делай, – одно страдание!

Лицо его мгновенно и резко изменилось, глаза потухли и в них мелькнуло выражение грусти и боли.

– Вы знаете, что такое искусство? Нет?.. А я знаю!.. это одно сплошное страдание... Сколько раз мне приходилось слышать от больших художников, что они хотели бы быть самыми простыми ремесленниками, чиновниками двадцатого числа... Это, конечно, моменты упадка духа, но представьте себе, что надо переживать и сколько страдать, чтобы мечтать о пошлости, как о счастье! Вы понимаете это?

– Я понимаю, – кивнул головой доктор Арнольди.

– Ведь для того, чтобы быть художником, надо быть сумасшедшим, – продолжал Михайлов, и в его темных глазах загорелась искра маньяка, – потому что только сумасшедший и

может жить в таком вечном напряжении, до капли высасывая свой мозг, ради какой-то странной, в сущности мало понятной идеи. Ох, это ужасная штука!.. Когда вы работаете, вы горите на медленном огне. Все, что вы сделаете, кажется вам отвратительным, вам стыдно своей работы и страшно, что кто-нибудь увидит ее, когда она так еще мала, ничтожна и слаба. Вы начинаете презирать себя: как это я могу быть таким ничтожным, бесцветным? Хочется плакать иногда. – Почему другие могут, а я не могу? И ужаснее всего то, что вы никогда и не поверите всем сердцем, всерьез, что вы сделали хорошую вещь. Какая-то странная раздвоенность получается: если вас хвалят, вам кажется, что это из деликатности, когда бранят, вам кажется, что это ваши враги, что они просто вас не понимают или нарочно притворяются, чтобы уязвить лично вас. И так всегда, до самой могилы... А еще ужаснее, если до падения таланта! А сколько таких примеров на глазах!.. А для чего в конце концов все эти страдания?

Доктор Арнольди хотел что-то возразить, но не успел.

– Я знаю, что вы мне скажете, – перебил Михайлов, с горящим лицом и напряженными до иступления глазами, – вес знаю, что можно сказать в возвеличение искусства и тому подобное... А все-таки это только бред какой-то!.. Не то истерическое самолюбие, не то еще что-то хуже... Вот я два месяца сидел над своим «Лебединым озером»... Что это за озеро? Почему?.. Ну, пусть, не в том дело... Вы знаете, когда передо мной, как живой, и прекраснее, чем живой, отразился, наконец, в темной воде белый лебедь... Вы понимаете? Такой гордый, чистый, холодный белый лебедь, над холодной темной глубиной... я чуть с ума не сошел от восторга! Мне хотелось бежать на улицу и всем рассказывать о важности того, что я сделал... Кажется, если бы я увидел своего лебедя в действительности, я стал бы на берегу на колени, сложил бы руки и заплакал от умиления и гордости. А когда кончил, посмотрел, стало мне грустно, больно, доктор.

– Почему же? – с недоумением спросил доктор.

– Не знаю... не могу объяснить... Тут-то и заложено что-то... Это такое странное чувство... Ну, как если бы оторвал кусок сердца с кровью и бросил бы его... Я вдруг почувствовал, что между мной и моей картиной, над которой я столько перестрадал, ровно ничего нет! Все мои восторги и страдания растаяли в какой-то безнадежной пустоте. Написал лебедя, и кончено... только и всего... Я должен жить сам по себе, картина сама по себе... И кажется мне: будет мой белый лебедь висеть в какой-нибудь большой холодной зале музея... С одной стороны будет «Слово о полку Игореве», с другой какой-нибудь «Скотный двор», «Богатырь на распутье», «Иван Грозный»... все будет висеть в ряд. Я буду далеко, буду жить и с тем же мучительным напряжением писать еще что-нибудь... Потом еще, потом еще... пока не умру... И если умру на сохой картине, для меня это будет все равно, как если бы умер и на десятой! А в музее все будет холодный ровный свет, молчаливые картины... Посетители будут бродить с большими от внимания шеями... сто лет пройдет, а мой лебедь все будет отражаться в темной воде...

– Ну, что ж... это и хорошо... – заметил с недоумением доктор Арнольди.

– А... – с досадой вскрикнул Михайлов. – Вы не понимаете!.. Ведь он будет жить без меня! Как будто сквозь меня пройдет что-то нужное, а может быть, и ненужное кому-то, а я останусь сам по себе, какой-то забытой тряпкой на мусоре... Понимаете, это не я сам, а... понимаете... Нет, я этого выразить не могу!

Михайлов вскочил и заходил по комнате. Огромная тень, перегибающаяся на потолке, такая же, какая стояла за плечами доктора Арнольди, пошла за ним и неотступно ходила из угла в угол, сгибаясь и кривляясь. Ни доктор, ни Михайлов ее не заметили.

Михайлов долго ходил молча, и по лицу его было видно, как стремительно продолжали нестись в его мозгу разбуженные, страдальческие мысли. Потом он неожиданно остановился, тряхнул, по своей привычке, головой и засмеялся так звонко и резко, что доктор даже вздрогнул.

– Все это чепуха, доктор!

– Чепуха? – как эхо, машинально повторил доктор Арнольди.

В эту минуту ему представился белый холодный зал музея, ряды картин, холодок торжественной тишины и, как могильный памятник над чьими-то страданиями, белый лебедь, навеки застывший над темной таинственной глубиной.

– А? Что вы сказали? – переспросил он, опомнившись.

– Пойдемте в клуб, доктор, вот что я говорю, – весело, но с каким-то надрывом сказал Михайлов.

– В клуб? – повторил доктор Арнольди и вздохнул.

– Да не вздыхайте вы, доктор, ради Бога! – закричал Михайлов и, схватив доктора за толстые плечи, потряс с ласковой угрозой.

Он уже опять стал прежним, веселым и беззаботным, точно эго и не он вызывал из тьмы мертвенно прекрасное холодное видение вечного лебедя.

– Ну, пойдем, посмотрев на него, согласился доктор Арнольди и грузно поднялся.

Михайлов схватил свою белую шляпу, доктор Арнольди натянул на толстые плечи неизменный парусиновый пиджак и, потушив свечу, мгновенно погрузил комнату во мрак, в котором бесследно, как не бывшие, исчезли и черные тени, и безмолвные бабочки.

Они вышли во двор.

Огромное звездное небо раскинулось над ними и обняло холодом вечного простора. Вверху все искрилось и сверкало. Млечный путь серебристой, морозной пылью тянулся по темно-синему куполу, уходящему в недостижимую высоту. На земле же все было черно и темно, и Михайлов едва не полетел с крыльца.

– Осторожнее, тут ступеньки... – запоздало предупредил доктор.

– Вы бы еще завтра сказали! – весело отозвался из темноты Михайлов.

Они не успели еще отойти от крыльца, как кто-то подъехал к воротам. Слышно было, как задрезжали колеса и зафыркала невидимая лошадь. Какая-то белая тень показалась в калитке.

Доктор Арнольди здесь живет? – спросил оттуда женский молодой голос.

– Вот тебе и раз! – досадливо пробормотал Михайлов, которому не хотелось идти без доктора.

– Я здесь, – отозвался доктор Арнольди. Женщина в белом подошла к ним. Она, видимо, торопилась и колебалась во тьме, как туман над водой.

– Простите, доктор, пожалуйста, я за вами! – быстро заговорила она, стараясь впотьмах рассмотреть доктора.

– Чем могу служить? – спокойно и медленно спросил доктор.

– Я за вами... – волнуясь, повторила молодая женщина, делая такое странное движение, как будто хотела положить руки на грудь доктору. Отцу очень плохо... не знаю, кажется, удар... Я сама поехала за вами... Пожалуйста, скорее!

Доктор Арнольди с высоты своего огромного толстого тела наклонился к ее лицу и рассмотрел в темноте казавшиеся совсем черными глаза, пухлые губы и белый платочек, небрежно, наспех накиннутый на волосы.

– С кем удар? – спросил он.

– Я Грегулова, – торопливо пояснила та самая девушка, с братьями которой занимался маленький студент Чиж.

Но доктор Арнольди уже узнал ее.

– А, это вы, Елизавета Петровна! Так с вашим отцом нехорошо? Что же это... давно?

И, не сообразив неуместности момента, доктор по привычке пропыхтел:

– Позвольте вас познакомиться... Михайлов... В колеблющемся мраке при неясном отблеске звезд на Михайлова взглянуло незнакомое, хорошенькое личико с большими глазами и пухлыми наивными губами.

Девушка, почти не расслышав, подала ему руку и быстро повернулась к доктору:

– Едем скорее, ради Бога!

– Пожалуйте, – тяжело вздохнув, согласился доктор Арнольди.

Девушка пошла вперед, точно увлекая его за собой. Она шла легко и быстро, а грузный доктор тяжело поплелся сзади, как каторжник, опять прикованный к вечной тачке.

Михайлов молча проводил их за ворота, подождал, пока улеглась пыль, поднятая рослой купеческой лошадейю, и пошел один вдоль темных улиц.

Ощущение мягкой женской руки и быстрый безразличный, как ему показалось, взгляд незнакомых глаз, таких чужих и равнодушных, опять пробудили в нем то странное, жгучее любопытство, которое властно влекло его к женщине. Он шел по темной улице, смотрел на усеянное блестящими звездами черное небо, и перед ним, во мраке, как будто колебалось смутное очертание круглых плеч, обтянутых светлым платьем, равнодушные темные глаза на белом лице, высокая грудь, все гибкое, манящее тело незнакомой девушки.

И почти больно и грустно было, что опять он стоит перед загадкой, что опять его влечет и манит неразрешимое, неутолимое чувство.

IX

В клубе были зажжены все огни, и он горел, как игрушечный домик со свечкой внутри. Широкие полосы веселого света ложились из открытых окон на темную улицу и освещали подножие мрачной церкви, уходящей к звездному небу своими таинственными куполами.

Передняя клуба была полна шляп, пальто, зонтиков и палок. Из карточных комнат уже плыл синий табачный дым, откуда-то доносились взрывы многоголосого смеха и сухой треск бильярдных шаров.

Михайлов не глядя повесил свою белую шляпу и спросил старого, с седыми солдатскими усами, швейцара:

– Кто есть, Степан?

– Да кто, – с фамильярной учтивостью принимая палку и ставя ее в угол, ответил швейцар, – народу много... Исправник тута, офицера... Захар Максимович...

– Арбузов? – быстро переспросил Михайлов и на мгновение как бы загнулся на пороге.

– Так точно, приехали с компанией. Корнет Краузе, штаб-ротмистр Тренев, студенты... народу много.

Михайлов, не слушая, пошел в библиотеку. Там было тихо, и от опущенных абажуров ламп казалось темно. Ярко белели только газеты и книги на зеленом сукне большою стола. Студент Чиж, поставив колено на стул и локти на стол, низко пригнулся к газетам. Незнакомый, не то поп, не то дьякон, углубившись в кресло и разметав по плечам обильные рыжие волосы, комфортабельно рассматривал иллюстрированный журнал.

– А, здравствуйте! – сказал Чиж, подняв голову. – Что это вас не видно?

– Работал, – нехотя ответил Михайлов. Он стеснялся Чижа, потому что чувствовал его презрительно-враждебное отношение к себе.

Рыжеволосый батюшка из-за края журнала косо посматривал на Михайлова. Чиж перебирал пальцами край газеты и, видимо, не знал, что еще сказать. Михайлов взял со стола книгу, посмотрел заглавие и положил.

– Да... неопределенно, – сквозь зубы сказал он, чувствуя себя неловко, точно в стане врагов.

Чиж молчал. Дьякон, не спуская глаз, выглядывал из-за своего журнала.

Михайлов не знал, что ему делать: встретиться с Арбузовым было тяжело, а уйти казалось унижительным. Вышло бы, как будто он испугался. И Михайлову стало и грустно, и досадно: он любил Арбузова искренно и тепло, учился вместе и долго жил с ним.

Теперь они должны были встретиться врагами, и Михайлова томило чувство вины, хотя он не признавал ее.

«В конце концов это дело самой Нелли!» – подумал он, морщась, как от боли.

Сквозь ярко освещенную дверь столовой доносились голоса, стук тарелок и раскатыстый мужской хохот. Кто-то вышел оттуда и заслонил свет.

Невысокий широкоплечий человек, со спутанными кудрявыми черными волосами и черными, воспаленными от пьянства и бессонных ночей глазами шагнул в библиотеку.

– А... Сергей! – хриплым разудалым голосом крикнул он, неожиданно увидев Михайлова. – Здорово!

Немного пошатываясь, но все-таки твердо и широко шагая лакированными сапогами, он двинулся прямо к Михайлову. Эти лакированные сапоги, красная шелковая рубаша под расстегнутой синей поддевкой и взлохмаченные волосы придавали ему бесшабашный и угрожающий вид.

Михайлов поднялся навстречу, но стал как-то странно, точно настороже, и казался удивительно стройным и изящным в сравнении с грубоватой разухабистостью подходившего человека.

– Не узнаешь, что ли? – странным тоном вызова, насмешки и грусти сказал тот. – Или боишься меня?

Чиж поднял голову, и рыжий поп, опустив на колени свой журнал, во все глаза смотрел на них. Весь город знал подкладку этой встречи, знал, что Михайлов увлек и бросил девушку, которую пьяно, но насмерть любил Арбузов.

– Не говори глупостей, – презрительно и холодно ответил Михайлов, высоко подняв гордую красивую голову.

Арбузов, засунув руки в карманы поддевки, на мгновение приостановился и своими жгучими воспаленными глазками исподлобья смотрел на Михайлова. Одну секунду, даже, может быть, меньше, продолжалось жуткое напряженное молчание. Арбузов тяжело дышал широкой грудью и, как бык, когда он роет землю перед ударом, все ниже и ниже опускал тяжелую лобстную голову со свесившимся клоком черных волос.

Михайлов по-прежнему стоял у стола, опершись на него рукой, и ждал. Он был спокоен и даже улыбался презрительно и холодно. Но тонкая белая рука его чуть дрожала на столе.

Что-то страшное, как предчувствие безобразного нелепого убийства, нависло в воздухе. Все сильнее дрожала белая рука на столе и все тяжелее, с хрипом, дышал Арбузов.

Чиж, сам того не замечая, отодвинулся от стола. Рыжий поп что-то хотел сказать, но только пошевелил побелевшими губами и вдруг вскочил.

Но в эту самую минуту Арбузов тряхнул спутанными кудрями, криво усмехнулся, показав из-под черных усов белые широкие зубы, и сказал надорванно веселым голосом:

– Ну, ладно... Здравствуй... Давно мы не виделись!

Михайлов медленно протянул задрожавшую руку, но Арбузов шагнул к нему и крепко обнял, как самого лучшего дорогого друга. Они поцеловались, и, когда поп и Чиж увидели их лица, Михайлов был бледен и смущенный, как униженный, а на мрачно красивом лице Арбузова было странное выражение тяжелой больной грусти.

– Ну, что ж, пойдем выпьем?.. А?.. – неестественно беззаботно заговорил Арбузов, крепко беря Михайлова под руку. – Там все наши... Пью, Сережа!.. В Париже был... Пью! Выпьем, а?.. Где наше не пропадало!.. Где бывал?

– Пойдем, тихо, не подымая глаз, ответил Михайлов. – В Москву ездил, картину отвез... Потом у себя в усадьбе сидел, работал... Ты как живешь?

Мрачные воспаленные глаза Арбузова со странной нежностью смотрели на него, пока он говорил. И когда Михайлов замолчал, он еще крепче сжал его локоть железными пальцами.

– Славный ты парень, Сережа!.. Картину возил, говоришь?.. Что ж мне не показал? Я твои картины люблю... Может, купил бы... Или не понимаю, а?.. А я, брат, все то же: пью, безобразничаю... только и всего! Нашему брату, купеческому сынку, так и полагается... Ну, пойдем!

И так же твердо и размашисто ступая крепкими, немного согнутыми, как у кавалериста, ногами в лакированных сапогах, он повел Михайлова под руку в буфет.

Успокоившийся Чиж проводил их пренебрежительным взглядом.

Рыжеволосый батюшка, подождав, пока они скрылись за дверью, улыбаясь, сказал Чиж:

– А я, признаться, испугался... думал мордобой будет! Вы знаете, этот художник у него барышню отбил... Барышня-то теперь в интересе, а он ее бросил... Скандал великий! Весь город говорит.

– Вы бы, батюшка, – медленно и зло, едва двигая тонкими губами, заметил Чиж, – поменьше бы сплетнями занимались... Оно духовному лицу как будто и не к лицу... Право!

Рыжий батюшка совершенно добродушно захихикал.

– Какие сплетни? Истинная правда!.. Все знают. А что язык у вас, Кирилл Дмитриевич, злой, это мы тоже давно знаем... Все острите!

Чиж бросил газету и пренебрежительно посмотрел на него.

– Вы, отец Николай, даже надоели мне своим добродушием... На вас и рассердиться толком нельзя... Комический персонаж!

Рыжий батюшка так и залился.

Чиж плюнул, спустил ногу со стула и пошел в буфет.

Там было ярко и шумно. Буфет сверкал сотнями разноцветных бутылок, и метавшиеся лакеи придавали всему тон праздничной суеты.

За одним столом сидела компания офицеров и каких-то очкастых и бородатых людей, которые, очевидно, были сильно пьяны. Они кричали наперебой бестолковыми зычными головами и раскатывались громовым смехом, в котором выделялся генеральский рокот исправника, толстого, огромного человека с большими усами. Михайлов заметил среди них знакомого адъютанта с белыми аксельбантами и тонким наглым лицом. Он что-то негромко, но уверенно рассказывал, и, когда все хохотали, его красивое лицо с выдающимся подбородком только подергивалось холодной усмешкой.

– Вот, господа, поймал сокола! – все не выпуская крепко сжатого локтя Михайлова, разудало закричал Арбузов. – Славный парень и выпить не дурак, хотя, между прочим, и большой художник... Не так ли, Сережа? Правильно ли я говорю?.. Со всеми знаком?

Михайлов высвободил руку и подошел здороваться, ему хотелось поскорее уйти от Арбузова, в бесшабашном крике которого, сквозь напускную веселость, ясно слышалась надорванная, больная нота.

Навстречу Михайлову приподнялись длинный, с лицом презрительного Мефистофеля, корнет Краузе, штаб-ротмистр Тренев – бледный усатый офицер, какой-то купеческий сынок и незнакомый мрачный господин с всклокоченными волосами и дикими, почти ненормальными глазами.

– Наумов, – отрекомендовал его Арбузов, – мой новый инженер.

– Садись, Сережа, выпьем! Михайлов сел между корнетом Краузе и Наумовым.

– А студии где? Неужели удрали? – с неестественным оживлением забеспокоился Арбузов.

– Они пошли играть на бильярде, – точно и вежливо отвечал корнет Краузе.

– Опять? Ну, черт с ними!.. Пей, Сережа! – закричал Арбузов, наливая и разливая на скатерть водку. – Мешает? Дай сюда, – заметил, что Михайлов локтем отодвигает нагайку, брошенную прямо на стол, среди стаканов и тарелок.

Он взял нагайку и швырнул на стул.

– А мы новую тройку вспрыскиваем, Сережа, – продолжал Арбузов так же лихорадочно. Его как будто все время что-то дергало. Таких лошадей купил, беда!.. От завода сюда в два часа домчали!

– Новую тройку купил! – принужденно спросил Михайлов. – А старая где?

– Старая? – задумчиво переспросил Арбузов. Зарезал! – мрачно и жестко закончил он и на минуту замолк.

– Итак, вы говорите, – вежливо и негромко заговорил корнет Краузе, обращаясь к Наумову и вопросительно приподнимая свои тонкие мефистофельские брови над длинным белым лицом.

– Я говорю, – неожиданно и так резко, что Михайлов невольно взглянул на него, перебил Наумов, – что человек имеет право доводить идею до абсурда, до жестокости, до тирании, до чего хотите!.. Какая речь может быть о праве?.. Что такое право?.. Оно предполагает расчет с чем-то или с кем-то... С кем же расчет? Во имя чего? Я могу хотеть? А если могу, то, следовательно, могу и исполнить свое хотение... Если мне противна жизнь, я имею право уничтожить

ее, безразлично, в себе ли самом или в другом живом существе, ибо кому же я дам отчет? Другим людям? Но они могут меня убить, это одно, а запретить мне стремиться к выполнению своего «хочу» не могут!.. А когда человек думает о самоубийстве и начинает допытываться, имеет ли он на это право, то это просто смешно и жалко!.. Имеющий силу да делает, вот вам единственная из всех заповедей!

– Правильно! – горячо крикнул Арбузов. – Какое тут право!.. Мой тятенька царство ему небесное! – всю округу на откупках спойл, а я заводом придавлю так, что и не пикнут!.. Все один черт!.. Тягайся со мной, кто может!.. Какие там права и гуманности! Живодером был человек, живодером и останется... И правильно: бей, души и дери, пока тебя самого черти не задушили!.. Говорят, капиталов в гроб не возьмешь... а гуманность возьмешь? А любовь возьмешь?.. Пей, Сережа! Что не пьешь? – дико закричал он. – Стой, я с тобой выпью... чокнемся, брат!

Михайлов протянул свой стакан. Арбузов пристально посмотрел на него черными воспаленными глазами, и опять тень нежности и грусти затуманила их.

– Люблю я тебя, брат... Люблю, и всегда любить буду... И убью, пожалуй, а все любить буду... Ну, пей!

Пьяный угар уже висел над столом. Длинный Краузе был бледен как смерть, и странно чернели на его остром лице косые мефистофельские брови. Молчаливый штаб-ротмистр Тренев безмолвно, понуриив голову, крутил длинные усы и пил стакан за стаканом. Наумов смотрел вокруг дикими глазами, напряженными, как у маньяка, и пил только крепкий чай. Чиж, появившийся из библиотеки, подсев к краю стола, поставил перед собой бокальчик шампанского и презрительно улыбался всему, что слышал кругом. Ему было скучно среди пьяных, но уходить не хотелось: слишком было тяжело от света и шума перейти в свою голую маленькую комнату с тусклой лампой и смятой скатертью. Арбузов пил незаметно, но кричал больше всех, он, видимо, был страшно пьян, и его черные глаза становились все мрачнее, и на щеках выступали белые пятна.

Пришел рыжий батюшка и, бочком подобравшись к буфету, мигнул пальцем, чтобы ему налили рюмочку водки. Он притворялся, что не интересуется компанией, и скромно тыкал вилкой в селедку. Арбузов сейчас же заметил его.

– А, отец Николай!.. Гряди сюда! Что там водка... дуй шампанское, отче, во славу Божию!

Рыжий батюшка, польщенно улыбаясь, оставил свою селедку и подошел, на ходу оправляя рукава рясы, точно собирался для начала благословить всю пьяную компанию.

– Привет, господа! Позвольте присесть? Штаб-ротмистр Тренев, не переставая крутить усы, подвинулся.

– Но, собственно, в жизни каждого человека должно же быть какое-нибудь мерило дозволенного и недозволенного, – продолжал говорить Краузе так вежливо и тихо, как будто не спорил, а спрашивал совета. – Ибо иначе произойдет хаос в жизни каждого, не говоря о жизни всех вообще...

– Брось философию! – крикнул Арбузов.

– И нельзя будет жить, – так же спокойно докончил Краузе, как будто ничего не слышал.

– А вам очень нужно жить? – спросил Наумов резко.

– Вы не живете! – насмешливо и даже ехидно заметил со стороны Чиж, которому не нравился Наумов.

– Что? – вдруг крикнул Арбузов голосом, от которого все вздрогнули, и даже лакеи выскочили из буфета.

Чиж оскорбление оглянулся, думая, что крик относился к нему, но Арбузов, приподнявшись и опершись на стол, смотрел через его голову. Теперь лицо его было совсем бело и даже губы посинели.

За соседним столом все повернули головы.

– В чем дело? – холодно спросил адъютант, высокомерно прищурившись на Арбузова.

– Молчать! – крикнул Арбузов и, опрокинув стул, чуть не сбив на пол Чижа, кинулся к адъютанту. Он не мог продолжать, так сильно затряслись у него губы.

– Зоря, – крикнул Михайлов, чего ты взбеленился!..

В дверях показались любопытные лица. Краузе, Наумов, Чиж и Тренев встали, не понимая, в чем дело. Рыжий батюшка опасливо подобрал рукава, точно собирался дать тягу.

Красивый адъютант тоже встал, немного побледнев. Остальные отшатнулись и смотрели испуганно. Они, очевидно, сразу догадались, что вызвало скандал. Только толстый исправник махал руками и старался вставить что-то успокоительное.

– Позвольте, милостивый государь... Вы мне говорите? – тихо, но выразительно проговорил адъютант и кошачьим движением незаметно опустил руку в карман рейтуз. – Что вам угодно?

– Я слышал, что ты говорил, мерзавец! – крикнул Арбузов, треснув нагайкой по столу и вдребезги разбив рюмку, так что осколки стекла обрызгали всех. – Нелли? Какая Нелли?.. Прохвост! Да ты понимаешь ли, о чем говоришь... а?

И, повернувшись к Михайлову, Арбузов четко и даже как будто спокойно сказал:

– Сергей, он говорил, что пошлет извозчика за Нелли, и держал пари, что она приедет, потому что ей все равно терять нечего... – а?

Михайлов быстро шагнул вперед.

Но Арбузов не дал ему подойти.

– Слушай, ты! – крикнул он адъютанту. – Если ты еще хоть раз имя это назовешь, я... я тебе этой нагайкой всю морду разобью! Что?.. Молчать! У этой Нелли ты недостоин руку поцеловать... скотина... Молчать! Я говорю!

И вдруг, бешено взмахнув нагайкой, Арбузов сбил всю посуду на пол. С треском и звоном полетели осколки тарелок и стаканов. Все вскочили.

– Если вы хоть слово... я этой нагайкой всех вас по мордам смажу! Мерзавцы! – хрипло, задыхаясь, кричал Арбузов.

Адъютант неожиданно как-то изогнулся и выскочил из-за стола. В руке его мелькнуло уродливое черное дуло револьвера. Многие зажмурились.

– А... – сквозь зубы мычал он.

– А, браунинг? – весело крикнул Арбузов, как бы в каком-то светлом восторге. – Ну, что ж... пали! И он со страшной силой взмахнул нагайкой. Но в это время Михайлов заслонил его всем телом, а кто-то сзади быстро ударил адъютанта по руке, и тяжелый браунинг, разбивая тарелку, грузно шлепнулся на стол.

– Шоб мини цего не було! – басом сказал выбежавший из биллиардной студент Давиденко. – Господа, возьмите ту штуку... вот так!

Длинный Краузе, шагнув через всю комнату, флегматично взял револьвер и положил его в карман.

– Если вы пожелаете, я могу дать удовлетворение за этот свой поступок, – негромко сказал он адъютанту.

– Ничего! Пускай! – весело и пьяно кричал Арбузов, вдруг совершенно успокоившийся. – Сережа, плюнь! Пойдем выпьем!

Сцепив зубы, с побледневшим лицом, адъютант молча боролся с Давиденко. Но студент держал его как в тисках и не переставая говорил хладнокровным басом:

– Мишка, возьми саблю... Успокойтесь, господин ахвицер! Шо хорошего, что он вам морду набьет, что вы ему пузо прострелите... Та не вертись кажу!

Вдруг адъютант оттолкнул Давиденко, презрительно усмехнулся и проговорил:

– Мы с вами еще встретимся, господин Арбузов!

– Ладно, – отвечал Арбузов мрачно. – Нагайка всегда при мне!

Адъютант опять презрительно усмехнулся и, ни на кого не глядя, цепляясь шпорами за стулья, вышел из буфета.

Остальная компания его растерянно переглядывалась, не зная, что делать. Исправник салфеткой счищал масло и хрен с сюртука и возмущенно бормотал:

– Этого нельзя себе позволять... Думает, как миллионер...

– А ты молчи, старый воробей! – весело крикнул ему Арбузов. – Тебя это не касается... Иди лучше сюда!

– Я понимаю... Я, конечно, тут ни при чем... – успокаивая самого себя, сказал исправник. – Но нельзя же так, Захар Максимович, ей-Богу!

– Да полно... брось! – досадливо махнул рукой Арбузов. – Ну, господа... за одоление супостата!

Михайлов сидел, потупившись, и тонкая рука его, лежавшая на столе, сильно дрожала, как давеча.

– Сережа, – вдруг тихо, перегнувшись к нему через стол, сказал Арбузов. – А ведь твой грех... ведь жалко?

Михайлов быстро взглянул на него и опять потупился.

Арбузов несколько времени смотрел на него влажными воспаленными глазами. Потом махнул рукой и как будто про себя пробормотал:

– Э... кто тут виноват? И вдруг закричал на весь клуб:

– Человек! Шампанского! Волоки... живо! Лакеи молча торопливо убрали разбитую посуду, не смея переглядываться, и по их лицам нельзя было угадать той грязной и липкой сплетни, которая завтра просочится по городу из лакейских уст. Товарищи адъютанта тихо переговаривались и, оглядываясь на Арбузова, расплатились и ушли. Исправник подсел к его столу и, машинально потирая салфеткой масляное пятно на мундире, говорил:

Много за вами грешков, Захар Максимович, но такой истории я не ожидал... Знаете, могут выйти неприятности... Но все же превосходно! Откровенно говоря, что же это такое! Я сам хотел ему заметить... Барышня, правда... он смущенно оглянулся на Михайлова. – Но нельзя же так. Я сам был возмущен, откровенно говоря...

– Будя врать! грубо сказал ему Арбузов и мрачно повел глазами. – А, впрочем, скучно тут... Едем, господа, ко мне на завод, а?

В дверях показалась огромная грузная фигура доктора Арнольди с его бритым, как у старого актера, лицом и умными заплывшими глазами.

Доктор! – восторженно закричал Арбузов. – Милый человек!.. Едем с нами!

– Пожалуй, – равнодушно согласился доктор Арнольди.

И скоро все, гремя стульями и шумно переговариваясь, пошли из буфета. Чиж подумал и пошел за ними с брезгливым видом. В буфете остались только сдвинутые столы, залитые, забрызганные скатерти, осколки тарелок и бутылок. Лакеи шумно заговорили и засмеялись.

На дворе была темная ночь. Небо так и горело звездами. Слышно было, как где-то во мраке позванивала бубенчиками арбузовская тройка.

– Так кто едет, господа? – кричал в темноте хмельной Арбузов. – Сережа, садись со мной... и доктора возьмем... Наумов!

– Я, право, не могу... – брезгливо говорил невидимый Чиж. – Завтра на урок надо рано...

– Какой там урок! – закричал Арбузов, хватая его за руку. – Врешь, не пущу! Поедем с нами!

– Ну, ладно! – так же брезгливо, сам не зная зачем, согласился Чиж.

Слышно было, как забренчали, заговорили бубенчики первой тройки.

– Вы на новых лошадях? – пунктуально осведомился длинный Краузе.

– Да... Стой!.. Сережа! – закричал Арбузов. – Хочешь посмотреть?.. Красавцы!.. Стой!.. Павел, придержи... Сережа, иди сюда!

Вспыхнул трепетный огонек спички. Из черного мрака выдвинулись в ряд, как на триумфальной арке, три умные прелестные лошадиные головы с темными агатовыми глазами и сторожко шевелящимися ушами.

– Смотрите, ведь не выезжены, испугаются... – равнодушно предупредил поручик Тренев.

Арбузов не ответил. Он ходил под самыми мордами лошадей и освещал их спичкой, спокойно и любовно разговаривая не то с Михайловым, не то со своими лошадьми.

– А, что? Правда, красавцы?.. Они у меня так и называются: это вот Красотка, эта – Красавица, а коренник – Красавец!..

Вороная Красавица чутко косила агатовым круглым глазом. Коренник прят ушами и переступал с ноги на ногу. Видно было, как нервно двигается тонкая, перепутанная сетью точеных жил, блестящая кожа. Тройка стояла как вкопанная.

Спичка потухла.

– Ну, едем! – сказал Арбузов, швырнув в сторону красный уголек. – Садись! Сережа, ну, готовы?.. Попа не забыли?

– Я тут, тут я! – ответил из темноты голос рыжего батюшки.

– Можно ехать, все сели! – огласил корнет Краузе.

– Ну, Павел, трогай!

Невыезженная тройка, не видимая в темноте, шарахнулась куда-то в сторону, выровнялась, натянула вожжи и со смехом, говором и стоном бубенчиков тронула по темной, бархатной от пыли дороге.

Все ускоряя бег, гремя и звеня на всю улицу, взбудоражив собак, экипажи один за другим завернули за угол, и быстро замелькали по сторонам неявные очертания заборов, белые пятна домов, церковные ограды, призраки черных деревьев с распростертыми руками.

– Пускай, Павел! – неожиданно крикнул Арбузов.

Задним не поспеть, Захар Максимыч! – не оборачиваясь, солидно ответил кучер, спина которого неявно маячила во мраке. Но, должно быть, он пустил вожжи, потому что внезапно земля рванулась назад, комья сухой глины больно засыпали ездоков, а воздух, сливая все в черту, загудел и застонал кругом. Непрерывно и дико залились бубенчики.

Город спал, и белые дома с закрытыми ставнями, казалось, с недоумением и осуждением смотрели на бешеную скачку.

На повороте красной точкой мелькнуло освещенное окно и исчезло.

Х

Там, на столике у кровати, горела лампа, и, вытянув поверх одеяла сухие руки, лежал старый профессор Иван Иванович.

Лампа тускло светила на кровать, а дальние углы тонули в зеленоватом сумраке, и, казалось, что в этих мглистых углах с тихим непрерывным шепотом тянется какая-то странная, таинственная работа, не видимая людям.

Иван Иванович неподвижно смотрел в угол, и, если бы не этот взгляд, странно сознательный среди всеобщего сна и молчания, его можно было бы принять за труп: бессильно лежали высохшие, покрытые на суставах мертвыми узлами руки, голова, лицом вверх, тяжело придавила подушку, и острыми углами выдавались из-под простыни кости скелета.

Маленькая старушка с белыми волосами тихо спала на соседней кровати и сладко похрюпывала во сне.

Иван Иванович смотрел и думал.

Голова его была ясна. Мысль напряженно и неустанно работала все в одном кругу. Память подставляла не те слова, но Иван Иванович не замечал этого. Когда надо было говорить и передавать людям о своих страданиях, было мучительно, если память заскакивала, и слово, которым хотелось выразить страшную муку, говорило странную, смешную нелепицу. Было стыдно своей дряхлости и убожества, больно, что его не понимают, что невыносимое чувство тоски не передается, и на лицах окружающих видно только слабое, тусклое сожаление. Но теперь никто не слушал его, никто не притворялся, что понимает его лепет, и мысль, без слов или первыми попавшимися нелепыми словами, работала с железной силой.

Смерть была тут. Иван Иванович знал, что жить осталось уже немного. Правда, он не представлял себе, что это будет через день, два. Он думал только, что ему не дожить до сентября, в крайнем случае – до зимы. Но в сравнении с жизнью эта страшная туманная осень, казалось, была уже за дверью. А жил он так долго! Оглядываясь назад, Иван Иванович видел безначальную вереницу лет. Он одновременно помнил себя мальчиком и студентом, и старым профессором, чинно всходящим на кафедру. В туманный и громадный узор путались миллионы мелких и важных фактов: женитьба, единица, полученная на экзамене, каникулы в деревне, защита диссертации, встреча с Марксом, поездки за границу, туманные очертания Лондона, Парижа, Нью-Йорка... Не было конца и счета словам, встречам, мыслям и лицам. Это была какая-то колоссальная панорама, двигавшаяся в памяти со страшной быстротой взад и вперед. И нельзя было представить, что через несколько дней вдруг все оборвется и исчезнет, как лопнувшая лента кинематографа. Наступит вот что-то непонятное и ужасное, и его не станет. В мире образуется какая-то нелепая, незаполненная пустота. Будут похороны, могила и разложение... полное небытие, не вмещающаяся в разуме абсолютная тьма.

Все останется по-прежнему, так же будут дни и ночи, будут говорить и ходить люди, будут войны, великие открытия, новые пророки, будет все, что было, только его одного не будет никогда.

Неужели и тогда кто-нибудь будет смеяться!

Иван Иванович вспомнил, нарочно вспомнил, как умер его отец, старый отставной полковник.

Это было страшно давно. Иван Иванович жил тогда на даче под городом и был молодым, здоровым, жизнерадостным человеком. Он приехал на родину отдохнуть и, главное, побыть при последних минутах отца. Но видеть выжившего из ума старика, несколько лет сидевшего в кресле и вообразившего себя полководцем в то время, как его кормили с ложечки манной кашкой, было слишком скучно и тяжело. В домике отца была затхлая, душная атмосфера болезни и ожидания близкого конца. Мать плакала целый день, отец кричал командные слова и бра-

нился, брызгая слюной. Иван Иванович, с женой и маленькой дочерью, поселился на даче и в городок наезжал редко, больше из приличия.

Ах, эта дача!.. Лунные ночи, зеленые пятна, красненькое платьице дочери, мелькавшее в кустах... Понимал ли он цену этого счастья? Нет, не понимал!.. Оно казалось ему так просто и естественно. Думал Иван Иванович только о том, чтобы скорее прожить эти два, три месяца и ехать в Москву, где он готовился занять кафедру. И когда призрачно сияла синяя луна, когда ярко и радостно грело золотое солнце, когда они с женой гуляли в поле между рожью, глядя на ясно погасавшую и точно благословляющую землю тихую зорю, Иван Иванович думал не о солнце, не о луне, не о жизни, которая есть и которой когда-то не будет, а о программе своих лекций, в которых должна была развернуться яркая картина давно погибших эпох.

Ах, эта дача!.. Вернуться назад, каким-то чудом сбросить эти сухие руки, эту страшную маску седин и морщин, которую кто-то напялил на него, пойти в лунную ночь между темных лиц и всей грудью, изо всех сил вдыхать ночную свежесть, дышать жадно, страстно, без конца. Ничего не надо: ни книг, ни истории человечества, ни известности, ни туманных городов Европы... только бы эти ноги ходили, эти руки не дрожали, не слезились глаза и не стояла бы в темном углу за плечами неотвратимая смерть.

Глоточек чистого воздуха, веселое громкое слово, одна минутка без страданий и напряженного ожидания конца, и это было бы такое счастье, перед которым ослепительное солнце – ничто.

«Нет, конечно... все кончено... умираю...» – думал Иван Иванович, тускло глядя в темный угол, где с таинственным шепотом что-то строилось, строилось без конца.

Но разум отказывался понять, что это так просто, как говорили опыт и знание. Конечно, организм перерождается, мертвеют ткани, сердце останавливается, и человек умирает. Это просто, когда умирает другой, но он, Иван Иванович, я, как может умереть?

Опять выплыл день, когда приехавшие из города лошади привезли известие, что отец умирает. Иван Иванович вспомнил, какой странный холодок оживления пробежал возле сердца. Как будто кровь побежала быстрее и ярче почувствовалась жизнь своего тела. Сразу стало не то что весело, а как-то жутко любопытно. Как будто чистой, холодной водой смыло в мозгу все мелочи жизни, и она предстала перед ним во весь свой громадный рост.

– Отец умирает! – сказал Иван Иванович жене. Потом была быстрая езда, ветер в поле, всевозрастающее чувство жуткого ожидания, знакомый городок, старые дома, пыль и люди, идущие куда-то по своим делам. И во дворе встречает старенькая родственница с заплаканным сморщенным личиком:

– Умер!

И ему становится больно, страшно, даже хочется плакать при мысли, что он опоздал и никогда уже не увидит отца. Стареньким, добреньким, бесконечно милым и близким представляется он. Больно колет в сердце, что почти две недели он откладывал поездку, а ведь мог еще столько видеть его.

Иван Иванович входит в темную комнату с почему-то закрытыми ставнями. Еще в зале он видел, что какие-то люди с дядей его, теперь уже давно умершим, убирают диван. Зачем? – мелькает в мозгу Ивана Ивановича, но, не успевая сообразить, он торопливо входит в спальню. И входит в тот момент, когда знакомый, тоже теперь уже умерший и забытый, но тогда еще молодой жизнерадостный доктор отходит от кровати с бессильным жестом: ничего не поделаешь... конец!

Иван Иванович жадно смотрит сквозь слезы, застилающие глаза, и в сумраке видит на смятой мокрой подушке запрокинутую знакомую, но как бы и не знакомую голову, с закрытыми глазами и черной дырой рта, подвязанного белой салфеткой.

Потом память показывает Ивану Ивановичу труп отца, сидящий в живой, только немного бессильной позе на полу, рядом с кроватью и корытом теплой воды. Седая голова свесилась на

грудь и качается. Какие-то бабы всовывают руки в рукава старенького полковничьего мундира, и руки загнуты, как у живого старого человека, которому трудно пролезть в узкие рукава. И нельзя допустить, что он уже не человек, что если его пустить, то он шлепнется затылком об пол, как мешок, что это только труп. Почему труп, когда это – отец, старый, вечно знакомый отец? Он просто притворяется, что ничего не чувствует, но с закрытыми глазами, с мертвым телом, покорно переваливающимся в чужих руках, все видит, слышит, что-то знает.

Потом стол, сухонькое тело, ноги, связанные чистой салфеткой, мертвое, непонятной важностью важное лицо, тихое потрескивание оплывающих высоких свечей, ночь за окном и монотонное чтение старинных слов... Смерть.

Тошно. Это даже не страх, это странная, все тело вытягивающая тошнота. Кажется, наступает такая тоска, что Иван Иванович не выдержит. Мысли мечутся во все стороны, гонят, стирают, как попало, эти страшные образы. Вот их уж как будто и нет, но сквозь обманчивую суету мысли, нарочно и тщетно прыгающей на пустяки, на то, как спит Полина Григорьевна, который час, как лампа горит, что-то чувствуется, просвечивает, как глаза мертвеца сквозь саван, и вот опять выступает, ширится, растет, наполняет весь мир... становится душно, страшно, невыносимо. Смерть.

Она тут, не отступит, не уйдет; это раньше можно было не думать, можно было надеяться, теперь все кончено, с верностью машины подходит она все ближе и ближе, точно открытая могила медленно сама ползет к кровати, на которой корчится от ужаса Иван Иванович.

Тоска подымается все выше и выше, охватывает с головой, нечем дышать, наконец!.. Все тело, вся душа, каждый нерв тянется и дрожит. Надо скорее что-то вспомнить, что-то сделать.

Но что вспоминать? Что смерть – обычное физиологическое явление, что все умрут, что когда-нибудь этот момент все-таки пройдет, что это еще не сейчас, что об этом не надо думать?.. Что, вопреки здравому смыслу, такому железному и ясному, есть все-таки спасение: вечная, бессмертная жизнь души... Бог!

И страшная, скачущая мысль вдруг падает. Призрак смерти отступает, растворяясь в какой-то певучей, усыпляющей мечте.

«Бог! – думает Иван Иванович, задерживая дыхание, чтобы не вспугнуть робкую, слабую, как паутинка, надежду. – Боже мой, Боже!.. Ну, что Тебе стоит! Я знаю, что смешно и глупо мне, старому умному человеку, профессору, верить в Тебя, как деревенская баба... Я знаю, что это только малодушие мое. Но, может быть, Ты все-таки есть... Так пожалей же меня! Мне страшно! Видишь, как я мучаюсь, а я старый больной человек, такой жалкий, жалкий старичок!»

От жалости к себе мутные слезы заливают тусклые глаза Ивана Ивановича, и он нарочно повторяет это слово, как можно жалче, как можно униженнее, чтобы разжалобить кого-то.

«Ну, что Тебе мучить меня?.. Хоть бы узнать! Хоть немного! И стало бы так хорошо... Я умер бы, но не так же, не так ужасно!.. И никто не понимает!.. Полина Григорьевна... она жалеет меня... как страшно и грустно будет ей остаться одной и никогда больше, никогда не видеть меня. А ведь мы прожили вместе столько лет и любили друг друга. Но и она не понимает всего... ей даже тяжело со мной. Может быть, я сумасшедший, как отец? Может быть, мне только кажется, что я думаю, а на самом деле это только нелепый, глупый бред?»

И вдруг гнетущая мысль начинает овладевать Иваном Ивановичем: никому не жаль его, всем надоел он, жалкий, выживший из ума полутруп.

Но ведь он столько сделал для науки. Теперь он, конечно, давно отстал, перезабыл многое, но было время – имя его пользовалось почетом. Остались его книги, обширные исследования по истории человечества. Люди должны и будут его помнить. И таким образом он все-таки не умрет.

На мгновение как бы открывается из тьмы дверь в яркое солнечное утро: да, тело умрет, но душа его будет жить вечно в его книгах, в его влиянии. Да, вот оно и есть, это бессмертие!

Но тяжелая дверь захлопывается с глухим стуком. Опять пустота и ужас: да, будут жить книги и мысли, но не он сам. А он умрет. Что за дело Сократу, что имя его повторяется кстати и некстати какими-то ему не известными людьми, а сам он давно сгнил где-то в земле? Разве это бессмертие? Это насмешка! Иван Иванович еще не умер, он только стар, а уже и теперь какая связь между ним и его книгами? Лучше бы он и не писал их совсем, не думал, не жег жизнь над бумагой, а дышал, смотрел на солнце, которого он никогда, никогда уже не увидит больше.

А может быть, и Полина Григорьевна, этот самый близкий человек, только старается показать, что ей жаль его. Но на самом деле между ними уже нет никакой связи: он умрет, а она будет жить, думать и чувствовать что-нибудь свое, новое, в чем он уже не примет никакого участия. И через два года она будет вспоминать его, как полузабытый сон.

И в эту самую минуту, когда он страдает и всем существом своим молит о жалости, она думает...

«Что думает? Хоть бы он умирал поскорее?.. Но этого не может быть! Разве может кто-нибудь думать, чтобы он умер!.. И думает, наверное, хоть иногда, да, думает. Я еще не настолько выжил из ума и не настолько испуган, чтобы не понимать, как я всем надоед, как тяжело со мной возиться. Ведь я наполовину умер и никому уже не нужен... Мне пора... умирать! Боже!.. Да Господи! Что же Ты делаешь? Ведь Ты же видишь! Неужели ты не чувствуешь, что Ты делаешь со мной!.. Какое ужасное, злое дело! Ведь я умираю, умираю, умираю...»

Иван Иванович лежал тихо-тихо, как мертвый. Тусклые глаза неподвижно смотрели в одну точку, но в этой неподвижности, в этой тишине, никому не слышная, бешено крутилась то ослабевающая, то проясняющаяся до хрустальности, то вырастающая в кошмар мысль. Целый хаос слов, бредовых представлений, ужасающий вихрь безумных криков, жалоб, проклятий.

«Зачем Ты дал мне жизнь? Значит, все это была только ловушка?.. И молодость, и лунные ночи, и надежды, и любовь, и наука... все это только приманка, чтобы затянуть, заманить и прихлопнуть неизбежной мучительной смертью!.. Да не хочу же я! Кто имеет право так издеваться надо мной? Будь же Ты проклят со всей своей вселенной, звездами, вечностью и солнцами! Ты просто жалкая, злобная дрянь, которой доставляет наслаждение мучить и издеваться над слабыми, беззащитными людьми, которые ничего не могут сделать Тебе!.. Я ненавижу и проклинаю Тебя! Ты этого хотел, когда потел над своим мирозданием?.. Ну, и получай... радуйся!»

Вдруг Иван Иванович испугался. И в этом испуге было опять что-то, похожее на надежду.

«А вдруг в самую последнюю минуту окажется, что все это, в сущности, вовсе не так страшно, а просто, разумно и хорошо!.. Может быть, надо проклясть этот подлый разум, отказаться от него и простой глупой верой верить в попов, в иконы, в воскресение из мертвых и жизнь бесконечную?.. Боже, ну, хорошо... пусть! Я буду верить, буду молиться, буду делать все что угодно, только не умирать... Или умереть без этой муки! Ведь она-то уж совсем Тебе не нужна?.. Ты посмотри на меня, какой я жалкий, слабый старичок, совсем больной!.. Я и плакать могу... просто буду плакать и просить: Господи, помилуй меня по великой милости Твоей!..»

Жалкая, бессильная слезинка выкатилась из-под дряблого старческого века. И в полном сознании, что все это напрасно, что никто не поможет, никто не смилуетя и не услышит, Иван Иванович застонал тоненьким бессильным стоном.

– Иван Иванович, что тебе? – сейчас же прозвучал странный живой голос, и маленькая старушка с седой головой приподнялась на своей кровати.

Ивану Ивановичу стало жаль ее. Всю ночь она не спит, десятки раз встает, помогает перевернуться, подает горшок, укладывает. Жаль ее, страшно жаль!.. И стало больно: все-таки она спит, может спать, когда он мучится, потому что все же не она умирает, а он.

– Спи, спи, пожалуйста! – злобно и капризно сказал Иван Иванович, и сухонькие костяшки его пальцев сжались в бессильном, вовсе не на нее направленном раздражении. – Я просто хочу вс... устать!.. А ты спи, я тебя не трогаю...

– Что ты выдумываешь, Иван Иваныч!.. Ночь!.. Спи лучше. Тебе спать надо.

– Какое тебе дело!.. Оставь меня в покое!.. Ты рада бы, чтобы я совсем не... не просыпался!

И Иван Иванович, чувствуя, что говорит неправду, что мучит и оскорбляет ее, когда им уж недолго осталось жить вместе, и не имея сил удержать безумное мучительное раздражение, заплакал. Слезы горько катились по старенькому, с провалившимся ртом лицу. Беспомощно обвисли седенькие волосики.

И та самая мысль, которой боялся Иван Иванович, мелькнула в голове самого близкого ему человека, седой старушки, которая прожила с ним сорок лет, любила его, как мать, жена и любовница, жалела всем сердцем и готова была отрубить руку свою, чтобы помочь ему хоть немного.

Мысль эта была тем мучительнее, что исходила не из сердца, сжатого бесконечной жалостью, не из разума, который стыдился ее, а из всего тела, измученного бессонными ночами, капризами больного и всей обстановкой грязной старческой смерти.

«Господи, да когда же конец этому!» – подумала Полина Григорьевна, и ей захотелось просто прикрикнуть на него, на этого бессильного старикашку, который почему-то считает себя вправе мучить ее.

«Ну, пусть он болен, пусть он страдает, но ведь и я же не виновата в этом!.. Ведь я могу толкнуть, крикнуть, и он испугается, будет лежать смирно, как побитый ребенок, и плакать от страха... Как бы то ни было, как бы он ни страдал, а должен же он понимать, что мне тяжело, что я всем жертвую для него!»

Но странно, именно потому, что Иван Иванович не понимал, сердился, брюзжал и даже сунул сухоньким и совершенно бессильным кулачком, сердце ее смягчилось.

– Да не мучь ты меня, ложись! – с тоской сказала Полина Григорьевна.

– Да, ты хотела бы, чтобы я скорее умер!.. Чтобы ты могла идти к любовникам!.. А я не умру... возьму и не умру... Назло!.. Вот, видишь, – ответил Иван Иванович со злобным старчески-идиотским издевательством и вдруг, торжественно вытянув руку, показал ей кукиш.

Это было так неожиданно, смешно и жалко, что Полина Григорьевна почувствовала, как горячие слезы заливают глаза. Она чуть не зарыдала громко, на весь дом и, забывая свои злые измученные мысли, терпеливо и молча стала подымать его. Только в самой глубине души, в том темном и жестоком тайнике, куда боится заглянуть разум, продолжала упорно и болезненно ныть нетерпеливая мысль: «Хоть бы уже умирал скорее!»

– Ну, пойдем, я тебе помогу, Иван Иванович! – сказала она, стискивая зубы.

Иван Иванович неожиданно присмирел. Какой-то скверный туман слетел с его мозга, и вдруг он ясно увидел и свое убожество, и свое беспричинное, безумное раздражение, и ее такое же одинокое, бессильное и покорное страдание. Он весь сгорбился, кротко опираясь на нее, поднялся и, шатаясь, весь белый, в одном белье, маленький и слабый, повлекся через темный зал в переднюю, где на ночь ставилось судно.

Он был сухонький и легонький, как ошипанный цыпленок, но старушке все-таки было непосильно тяжело. Задыхаясь, она волокла его по комнатам. В руке ее призрачно шаталась и мерцала свеча, а за ними, уродливо кривляясь в каком-то мрачном веселье, точно два огромных, черных паяца, шли по стенам две их тени.

В передней Полина Григорьевна поставила свечу на стол, ниже перехватила его костлявое легкое тело и хотела расстегнуть белье.

Горячее до слез чувство любви и жалости к ней и к себе самому больно сжимало старое умирающее сердце Ивана Ивановича, когда он, опираясь на нее, волочился через зал. С

мучительной силой понял он, как она любит, жалеет и страдает и как они оба несчастны. И ему захотелось приласкать ее, сказать ей что-то нежное, такое, какого давно уже не говорил он, старый сухой человек, ей, седой старой женщине. Прижаться к ней и заплакать горькими, горькими слезами.

С тяжелым укором поднялась его старческая мысль куда-то, в таинственную недостижимую высь. И если бы можно было словами выразить его чувство, темное небо услышало бы слабый, еле слышный человеческий голос:

– Боже мой, Боже, за что мы страдаем... Посмотри, если не на меня, так на нее... И волосики у нее уже седые, и маленькая она, и слабенькая, а вот тащит меня... любит и жалеет!.. Неужели Тебе не жалко нас?.. Что же мы сделали Тебе?.. Помнишь, мы были молодые и здоровые, и так же, обнявшись, ходили по комнатам... Я тогда был сильный, высокий, а она маленькая и прижималась ко мне, точно я мог от всего спасти и защитить... И вот она стала еще слабее, и головка у нее поседела, и она уже не милая Поля, а старая, старая старушка, и теперь она тащит меня, а я слабее ее... Боже мой, Боже мой!

Но бессильно и ничтожно замирала эта, никем не слышимая жалоба перед темным неподвижным лицом вечного мирового закона, имени которого никогда не узнает человек.

Ивану Ивановичу захотелось не быть таким жалким, встряхнуться, зашагать сильными крепкими ногами, все сделать самому так просто и легко, как делал когда-то. И когда Полина Григорьевна, шатаясь от усилий поддержать его скользящее вниз тело, старалась расстегнуть его белье, Иван Иванович пробормотал, дрожа от слабости:

– Пусти... я сам... пусти...

Он цеплялся дрожащими пальцами за руки, путал и мешал. Глухое раздражение опять поднялось в ней. Голова болела, ноги и руки дрожали, а он тянул.

– Да где тебе, Господи! – еле сдерживая желание бросить его, говорила Полина Григорьевна.

Иван Иванович не давался, бестолково совал руками и страдал от стыда за свою слабость и убожество. И раздражение мучило его.

– Да сам, сам... ну, оставь, ради Бога!.. Что я тебе сделал, что ты меня мучишь? – бормотал он, чуть не плача.

– Для тебя же, Господи! – с болью вырвалось у Полины Григорьевны.

Наконец он уселся на судно и затих, маленький, седенький и жалкий.

Полина Григорьевна стояла над ним и ждала, с тоской уставившись в угол воспаленными усталыми глазами. Свеча тихо вспыхивала на столе, было тихо и глухо, и казалось, что за стенами этой душной маленькой комнаты никого и ничего нет. Там вечная ночь и молчание, и на всем свете только их двое, с их последним безысходным страданием.

А Ивану Ивановичу было стыдно, что она стоит над ним. Старая мужская корректность, смешная и нелепая в умирающем человеке, мучила его.

– Уйди, пожалуйста... Ну, чего ты стоишь... Уйди! – раздраженно бормотал он.

Полина Григорьевна тяжело вздохнула и отступила назад, чтобы ему не видно было, но чтобы не упустить момента, когда что-нибудь понадобится.

Желтые неровные пятна ходили по стенам. Тишина стояла кругом, было душно и горько. Иван Иванович бессильно сидел на судне, и острые голые колени его торчали узловатыми мертвыми костями. Изредка он кряхтел, напрягая вялый омертвелый желудок, и кряхтение его было комично и жутко.

Полина Григорьевна задумалась. Она думала о том, что вот уже несколько месяцев, как началось это медленное умирание, и она бьется в мертвом кругу, оставленная всеми, растерявшаяся и бессильная.

«В конце концов и я свалюсь... А что тогда будет? На кого он останется?.. У Лиды своя жизнь, чужим нет дела...» – с холодным ужасом думала она и как бы угрожала кому-то. Но

сейчас же вспоминала, что угрожать некому: пусть и она свалится, пусть ему будет еще хуже, пусть умрут оба, пусть мука перейдет все воображимые пределы, будет невыносима, кромешна, хуже сдирания кожи с живого, и все-таки она будет, и придется перенести ее. Все перенести!.. И тот, кто сделал это, не отзовется ни одним звуком из своего вечного молчания.

– Да как же это? Да что же это такое, наконец! – спрашивала она, тупыми от ужаса глазами глядя в темный угол за шкафом.

И вдруг вспомнила, что все проходит: рано или поздно теперешнее страдание станет уже прошлым. Конечно, жалко... но зато, как она выспится, потом как будет ходить по улицам, пойдет в гости, будет дышать легко, говорить громко... Ах, как будет хорошо. Хоть бы скорее!

Вдруг Иван Иванович задвигался. И, прежде чем она успела угадать, он, торопясь, чтобы она не помогала, стал вставать. Хотел подтянуть кальсоны, уронил их и с голыми ногами, цепляясь за судно и едва не повалив его, тяжело рухнул коленями на холодный твердый пол. Хотел встать, не смог и шлепнулся на четвереньки, звонко шлепнув ладонями по полу.

– Иван Иваныч! – пронзительно крикнула старушка и кинулась подымать. Она подхватила его под мышки, но сил не стало, и она опять упустила. Иван Иванович упирался руками в пол, бессильно хватался за нее, за ножку стола, скользил голыми коленями и жалко-жалко, с мучительным стыдом бормотал:

– Ни... Ничего... я сейчас... пусти... я сам... это ничего...

И вдруг Полина Григорьевна визгливо, как будто лая, заплакала. Страшное горе завывало в этом ужасном бессильном плаче. Она обхватила его старенькую голову обеими руками, прижала его к себе, опустила рядом на колени и застыла.

Иван Иванович, стоя на четвереньках, с голыми ногами и голым, старчески высохшим задом, тоже прижался к ней и заплакал неслышными дряхлыми слезами.

В щели окна уже пробивалось синее предраассветное сияние. Точно кто-то светлый наконец подошел к этому дому и заглянул в него печальными непонятными глазами.

XI

Все было сине на дворе, а в поле уже яснили далекие горизонты. Небо светлело, и звезды таяли в нем прозрачными серебристыми слезинками, готовыми исчезнуть, растопиться в торжествующей лазури, когда над гранью земли покажется светлое золотое солнце.

Тройка Арбузова, далеко обогнав другие экипажи, все еще скакала по мокрым от росы полям.

Лица Михайлова, доктора Арнольди и самого Арбузова были серы и бледны от бессонной ночи. Взрыв пьяного оживления уже проходил, и всем хотелось спать, и никто не понимал, зачем, вместо того чтобы лежать в чистой теплой постели, они скачут на какой-то завод, страдая от усталости и едкого предрассветного холода, от которого лица подергиваются мелкой рябью и мучительно ежится все тело.

Далеко впереди, позади, справа и слева гигантским кругом расстилались поля и вес убежали; кружась, назад. Побитый росой хлеб неподвижно застыл, точно спал чутким предутренним сном, и казался седым от росы. Где-то синел бесконечный лес, и оттуда, тяжело махая отсыревшими крыльями, уже летели вороны, странно живые, когда все еще спит кругом.

– Ну, что... скоро ли? – раздраженно спросил Михайлов из-под обвисших полей белой шляпы, тяжело глядя усталыми, но все еще прекрасными глазами.

– Сейчас, как лесок проедем, тут ярмом... версты три осталось, – отвечал кучер, поворачивая к нему усталое, но до странности равнодушное лицо.

– Черт его знает, и зачем мы поехали! – брезгливо заметил Михайлов, и ему стало казаться, что Арбузов нарочно выдумал эту поездку, чтобы помучить его.

Доктор Арнольди молча, положив скрещенные руки на палку, сидел, как каменный, и только от толчков экипажа неровно качал большой тяжелой головой. Арбузов тоже молчал и пристально вглядывался в поля своими черными воспаленными глазами.

Но когда в воздухе разлились розовые краски утра и поля еще больше побелели от росы и туманов, когда воздушной чертой засинел, прежде черный, лес и где-то далеко, на краю горизонта, золотой звездочкой загорелась главка какой-то церковки, Арбузов вдруг засмеялся, поднял голову и крикнул удалым бесшабашным голосом:

– Что ж вы, черти, приуныли?.. Павел, вали, жарь... пристяжные, вскачь!.. Ого-го, жарь! Он повернул к Михайлову странным блеском загоревшиеся глаза и крикнул:

– Эх ты, художник... гляди, а ведь это все мое!.. Вон, пока глазом хватит... и лес, и поля, и степь – все мое!.. Наша земля, арбузовская!

– Ну, так что ж? – презрительно спросил Михайлов, чувствуя, что Арбузов чем-то хочет задеть его.

– Да, брат, пиши картины, старайся... памятник поставят... а земля-то моя... на которой памятники стоять будут! – как будто дразня и в самом деле, продолжал Арбузов. – Все мое... только счастья нет! – неожиданно прибавил он и бешено закричал: – Павел, стой! Не видишь, дурак, отстали... подождать надо!

Тройка, взрывая землю и садясь, остановилась. Хором завопили и долго не могли успокоиться обиженные бубенчики. От лошадей столбом валил пар, уже розовый от зари.

Сзади поспедали два других экипажа, уже слышны были крики, и кто-то, красный в первых лучах восходящего солнца, махал фуражкой.

Экипажи налетели сзади, сцепились колесами и стали. Все громко заговорили, закричали, засмеялись. Стало вдруг весело и легко опять. Усталость мгновенно исчезла. Яркое свежее утро вошло в души молодой удалью.

Только рыжий батюшка, совершенно измученный, с повисшими, размокшими кудрями, брюзжал и жаловался:

– Напрасно поехали... И попадья будет беспокоиться... Бог знает, что выдумали... вовсе даже не остроумно!

– Что? – спросил Арбузов, тяжело поворачивая к нему мрачные жгучие глаза.

– Напрасно, говорю, поехал я, и попадья...

– А, попадья? – бешено заорал Арбузов, налив кровью воспаленные белки, – а какого черта ты ввязался?.. Попадья? Ну, и ступай к попадье!.. Пошел, вылазь!

Рыжий батюшка испугался и обиделся.

– Да что ж я... только говорю...

– А, говоришь? – с непонятной злобой орал Арбузов, никого не слушая. – Ну, и ступай... марш!.. Павел, гони его в шею!

– Вы позвольте, с духовным лицом так об...

– Я тебе говорю! – бешено не крикнул, а взвизгнул Арбузов и поднял нагайку.

Батюшка побледнел и, смиренно, беспомощно оглядываясь на всех умоляющими глазами, полез из экипажа и остановился на краю дороги.

– Павел, трогай! – крикнул Арбузов.

– Ну, что ты делаешь! – недовольно заговорил Михайлов.

– Купеческое самодурство... – брезгливо пробормотал Чиж.

Арбузов мрачно и как будто выжидающе смотрел на Михайлова.

– А кто не хочет... – медленно и грозно проговорил он.

И все замолчали. Только доктор Арнольди быстро взглянул на Арбузова и Михайлова своими умными глазками, да Наумов равнодушно пожал плечами. Остальные смотрели в сторону.

Лошади тронулись. Рыжий батюшка столбом стоял у края дороги и с полным недоумением смотрел, как удалялись экипажи и таяли в ярком свете восходящего солнца.

Потом он растерянно развел руками и пошел следом. Потом остановился, снял шляпу и провел рукой по волосам, точно прихорашиваясь перед исповедью. Потом опять пошел назад, потом вперед и, наконец, медленно побрел по старой дороге, смешно подымая рясу и пожимая плечами.

– Скандал! – сокрушенно вздыхал он. – Говорила попадья: не связывайся... Вот по ее и вышло!.. Позор!

Уже когда совсем вошло солнце и загорелись огнями, розовыми, голубыми и желтыми, омытые росой плетни, крыши и колодцы, он вошел в какую-то деревню, которой ночью даже не приметил.

Рыжий батюшка был страшно измучен. На мокрые сапоги надела густая серая дорожная пыль. Ряса до колен была мокрая, хотя он старательно, как барышня платье, подбирал ее одной рукой. Лицо его, с обвисшей бородой и волосами, грязное и серое, было сконфуженно и растерянно.

Баба, бравшая воду в колодце, остановилась и смотрела на него.

«Ко святым местам пробирается, видать!» – подумала она с благоговением. Кучка мужиков сняла шапки.

Только к полудню он добрался в город на крестьянской телеге и сейчас же слег в постель от усталости и обиды. А к вечеру весь город только и говорил, что о новых арбузовских скандалах.

XII

Был тот веселый час, когда жара еще не наступила, и летнее солнце светит ярко и чисто, как весной. В саду было еще раннее утро, радостное, легкое, как будто взволнованное светом и пряным, росистым теплом.

Больная сидела в кресле у окна, раскрытого во всю ширину. Вместе с чистым, еще не жарким воздухом широкой волной лился в комнату золотой свет. В своем белом платье на белых подушках с бледным лицом и темными глазами больная казалась хорошенькой и принаряженной, как на празднике.

Она чувствовала себя хорошо. Ночные боли утихли, и слабое измученное тело нежилось в мягком утреннем тепле. Солнце клало золотые играющие пятна на чистый пол, на белые подушки, на белые стены, и даже прядь волос, мягких и слабых, какие бывают только у смертельно больных молодых женщин, казалась золотой.

Больная тихо шевелила пальцами, точно наигрывала какой-то, ей одной слышный, мотив, и бледной слабой улыбкой отвечала не то своим мыслям, не то яркому синему небу, широко и высоко раскинувшемуся над садом. Ей хотелось встать, забыть о болезни и слабости, надеть легкое веселое платье и со смехом убежать туда, в глубь зеленого сада, где непрестанно играли тысячи солнечных зайчиков, сверкала роса и, еще влажные, но уже прозрачные, таяли тени.

И странно, в этом желании, которому она сама улыбалась кроткой, словно извиняющейся улыбкой, какую-то роль играла грузная угрюмая фигура доктора Арнольди.

С тех пор как, больная, она приехала умирать на родину и отошли яркие воспоминания прежней бурной жизни, страшно и тихо сузился ее маленький мирок. Постель, кресло у окна, доктор, аккуратно и молча просиживающий с нею целые часы, наполнили ее существование и стали так же значительны и важны, как прежде сцена, шум, говор, треск аплодисментов, пьяный воздух балов и ресторанов.

Больной казалось, что это было страшно давно. Гораздо раньше, чем то далекое время, когда еще гимназисткой в коричневом платье она ходила по этому саду, готовила уроки у этого окна и по вечерам бегала на бульвар с какими-то, теперь уже совершенно забытыми, гимназистами.

Как иногда после спектакля, успеха, бурного ужина с шампанским, криками и комплиментами, наутро она не могла вспомнить, что было вчера, и все представлялось ей только каким-то ярким пятном, так и теперь, очнувшись больной, одинокой, умирающей в старом доме, она не могла ясно представить себе прежнюю жизнь и скоро почти забыла ее.

Только иногда в грустные вечера, когда над садом гасла печальная заря и в холоде тихого вечера явственнее звучал шепот смерти, она начинала вспоминать.

Выступали из вечернего сумрака и наклонялись к ней какие-то лица, зажигались бледные призраки огней, издалека доносились еле слышные взрывы аплодисментов, неясные звуки музыки без мотива... кто-то черный беззвучно выступал из толпы теней и, кланяясь, протягивал венок... Ярче вспоминались какие-нибудь мелочи: то как она едва не упала, когда, завернувшись в красный плащ нагой Джиованны, входила в картонный шатер, то поездка на острова, то звон разбитого бокала, то угодливая улыбочка старого антрепренера, к каждому слову приговаривающего: голубушка моя, да разве я... Какой-нибудь жест, какое-нибудь слово... Все разбито, рассеяно, как клочья разорванного яркого веера.

Все это прошло и никогда не вернется. Только так странно и непонятно, что столько шума, блеска, движения лиц и страстей забылось так скоро и не имело ничего общего с тем, что делалось теперь, на пороге близкой и страшной смерти. И как-то дико было представлять себе, что именно это больное, слабое, насквозь прозрачное тело то самое, которое вызывающе

обнажалось, отдавалось, бесстыдно содрогалось в грубых животных ласках и ломалось на подмостках сцены.

«Как будто все это было не настоящее, думала больная, – как будто какая-то другая, дерзкая, сладострастная и пустая женщина брала напрокат мое тело и трепала его по сцене и кроватям. И я не могу теперь даже понять, зачем в конце концов она это делала, какая радость могла быть в этом? Зачем было столько страдать, волноваться и радоваться, если теперь, в последние минуты, оказывается, что это был только шальной бред, а самое важное, единственное, что значительно и серьезно, вот оно – подушка, боли, мучительные позывы, тихие вечера у окна, мрачный доктор... смерть! Стоило бы жить так, если бы именно теперь весь этот блеск и шум собрался бы в один оглушительный фейерверк, ослепительно сверкнул и унес из жизни, без грусти и боли, чтобы и не заметить ничего!..»

Вы знаете, доктор, сказала она однажды молчаливому доктору Арнольди, – ведь это и была жизнь... Жить же!.. Значит – все!.. Для этого-то я и родилась, для этого росла, мечтала, боролась, из девочки превратилась в женщину, в актрису... Сколько потрачено сил!.. А теперь оказывается, что... Знаете, как будто я собиралась ехать куда-то, хлопотала, укладывалась, сердилась, а потом приехала на вокзал, и поезд сейчас отойдет, а я все забыла, набрала каких-то пустяков, и самых важных, совершенно необходимых вещей со мной и нет... И не то я говорю!.. Это гораздо ужаснее, и вы не поймете меня!

Нет, я понимаю, – как всегда, тихо и уныло, ответил доктор Арнольди.

И при воспоминании о нем тихая улыбка трогала губы больной. Ей казалось, что неразговорчивый, угрюмый доктор действительно понимает ее, как никто никогда не понимал. И чудилось, что именно в этом понимании и кроется то, чего никогда не было в ее жизни.

Ей приходила в голову шаловливая, трогательная в такой прекрасной, умирающей женщине мысль, что если бы она была, как прежде, здорова и весела, она разбудила бы эту угрюмую душу, увлекла бы его и дала бы ему все то счастье, которое по кусочкам раздарила многим, пустым и ничтожным людям. Он, скромный провинциальный доктор, и не знает, как обольстительна, нарядна, интересна бывает женщина и какие наслаждения она может дать. Яркими огнями загорелась бы его одинокая жизнь. Как бы он любил ее!.. И не для себя ей было жалко, что тело ее уже не прекрасно, что нагота его не ослепительна, а страшна.

– Поздно!

Но вдруг больная подумала, что тогда она сама бросила бы его, потому что не удовлетворила бы ее скромная жизнь и любовь без блеска и поз. Это только теперь, потому что смерть близко, она думает о том, мимо чего прежде прошла бы с презрительным смехом.

– Так, значит, я и должна была жить так, как жила... Странно!.. Я же ясно вижу, что та жизнь была не настоящей жизнью... а выходит, что другой и быть не могло. Почему же это? Какая страшная путаница!

Только что так ясно представлялось, что если бы можно было начать жить сначала, все было бы по-другому, а стоило только вдуматься в каждый момент отдельно, и оказывалось, что все было так, как не могло не быть. И ей стало жаль и себя, и доктора, и всех людей, путающихся в каком-то тумане, где правда кажется ложью именно потому, что никогда не обманывает, что всегда приходит в свой черед – смерть.

Больная подняла на свет свою прозрачную руку и с грустной улыбкой смотрела на бледно-розовые, только чуть теплые просветы между исхудалыми пальцами.

– Хорошо! – тихо проговорила она.

Но кругом было так ярко и весело, так много солнца было в мире, так страстно дрожало в его блеске голубое небо, так могуче разросся зеленый сад, что нельзя было остановить мысли на смерти, темноте и молчании. Больной было тепло, покойно и беспричинно весело, тихим, кротким весельем умирающего, и мысли бежали, как легкий ветерок в поле под солнцем.

Все прошло, и все неважно. Хорошо то, что солнышко греет, что на пальцах искрится и дрожит золотое пятнышко. Все-таки она еще не умерла, еще видит солнце, чувствует теплоту его, дышит вольным ветром зеленого сада. Ей хотелось поймать каждый клочок этого солнца, запомнить каждую дрожащую точку голубого неба, в котором точно шевелятся бесчисленные перышки невидимых, счастливых, голубых крыл. И еще было радостно думать, что вечером придет доктор Арнольди и еще долго, страшно долго она будет видеть его, сидеть тут у окна и тихо говорить ему все, что взбредет в голову, но все самое ласковое, хорошее.

Кто-то подъехал к дому. Больная услышала дребезжанье извозчичьих дрожek и прислушалась. Чей-то знакомый, но чей, она не могла вспомнить, женский голос спрашивал:

– Скажите, пожалуйста, здесь живет Раздольская... Мария Павловна?

– Здесь, – отвечала откуда-то Нелли...

Страшное волнение охватило больную при звуках этого голоса, назвавшего ее полузабытой сценической фамилией. Тысячи невозможных возможностей вихрем набежали со всех сторон. Она вся вытянулась, приподнялась на своих слабых руках, повернулась к двери и замерла.

– Кто это? Кто это?..

И когда на светлом фоне двери показалась высокая женская фигура, в красном, плотно обтянутом костюме, большой шляпе и белых, точно выточенных, ботинках, больная тихо ахнула, вытянула навстречу бледные прозрачные руки и вскрикнула:

– Женечка!

Черные брови, высокая грудь, румяные губы, черные волосы мелькнули ярким стремительным пятном, и гибкие сильные руки крепко и нежно обняли больную. И вместе с запахом духов, дорожной пыли и еще чего-то, чем пахнут только нарядные, дорогие женщины, ее опахнуло воздухом сцены, кутежей, балов, музыки, смеха, веселья. Точно вся прежняя жизнь, с ее шумной и нарядной красотой, ворвалась в тихую комнату вместе с этой яркой молодой женщиной.

– А я думала, что это!.. – плача и смеясь, говорила больная, хватая мягкие теплые руки Женечки, – я думала... впрочем, нет... пустяки... Но никак не ожидала, что это ты... Милая Женечка моя!.. Как же это ты?..

– Очень просто! Меня приглашали в Казань, а я не поехала... Надоело метаться, да и тебя увидеть захотелось... Ну, как ты тут?

На этом слове Женечка как будто запнулась немного, и взгляд ее черных глаз быстро скользнул по лицу больной. Она сейчас же овладела собой, изменила выражение и заговорила так же бойко и весело. Но больная уже поймала этот взгляд, и что-то больно дрогнуло в ее сердце. Точно в этих черных испуганных зрачках, как в черном зеркале, она увидела, наконец, свое настоящее – мертвое, страшное лицо. Никогда ни приговоры докторов, ни боли, ни слабость не говорили ей так ясно и неотразимо о близости смерти, как этот быстрый испуганный взгляд, мимолетная судорога жалости, скользнувшая по розовым губам, и, главное, именно та быстрота, с какой Женечка отвела глаза, и та неестественная веселость, которая забила в ее голосе. И стало холодно, страшно и больно так, что больная едва не вскрикнула.

Но солнце наполняло комнату золотом света, в окно смеялся ласковый летний ветер, Женечка была так нарядна и красива со своими черными глазами и черными бровями, вся сверкающая молодостью и здоровьем. И боль прошла... Черный призрак смерти еще раз отступил и растворился в радостном сиянии жизни. Больная уже опять смеялась, расспрашивала, обнимала Женечку, и в смехе ее звучали те милые бархатные нотки, которыми когда-то она неотразимо привлекала к себе мужчин.

– Ну, Расскажи мне о себе. Надолго ли?.. Поживи со мной немножко!

И болтовня разгоралась всеми красками молодости и веселья двух легкомысленных прекрасных женщин. Казалось, что нет больше болезни, нет смерти, все полно солнцем и смехом,

и вот они обе, наполняя воздух веселым криком, как две вольные красивые птицы, вспорхнут и улетят далеко от этой печальной комнаты, от болезни и горя.

Трудно было разобрать, о чем говорили они, и молодые женщины сами не могли бы передать своей болтовни, но все казалось им страшно интересным, полным живого смысла. В ярких звуках стремительной женской суеты мелькали то новые шляпы, то обрывки ролей, то имена, то любовь, и все это напоминало беспорядочно наваленную кучу разноцветных бумажных цветов. Только раз что-то черное мелькнуло в этом пестром хламе:

– А знаешь, Петров умер...

Представилось добродушное, комическое лицо старого толстого актера, который всех молодых актрис звал дочечками. Странно и страшно было подумать, что это простое, умное, доброе лицо теперь лежит в могиле, навеки смежив глаза и скрестив толстые неподвижные руки.

– А как же смех, а как же остроты, а где же любовь к хорошеньким женщинам, где же талант?.. Как будто ничего и не было!.. Мишура, которая слетела, точно рассыпанные конфетти после бала. И только?

Но черное мелькнуло, как тень скользящей в небе черной птицы, и пропало без следа. А слова сыпались, смех, восклицания и шутки звучали далеко в саду и разлетались, как блестящие, легкие и веселые.

Мария Павловна с улыбкой нежной жалости смотрела на Нелли и думала: «А ведь и правда, какое милое и странное лицо!»

Нелли сидела прямо, сморщив брови, как будто думая какую-то напряженную думу. Тяжелые волосы были свернуты косой вокруг головы, точно темная змея. Тонкий излом губ сжимался твердо и определенно, и усталой скорбью веяло от ее молодого, но такого старого лица, точно она прожила не свои девятнадцать-двадцать лет, а целые столетия.

– Ну, хорошо, – болтала Женечка, – вот я приехала... а что же, общество у вас есть?.. У тебя кто-нибудь бывает, Маша?

– Никто у меня не бывает, – с покорной грустью ответила Мария Павловна, – только доктор один, Арнольди... А то мы с Неллечкой одни...

– Арнольди? – переспросила Женечка. – Красивая фамилия!.. Что же он, молодой, интересный?

Мария Павловна засмеялась, и трогательно-нежное выражение промелькнуло у нее в глазах.

– Нет, пожилой уже и совсем не интересный в том смысле... Да вот, ты его увидишь... Он каждый день у меня бывает... Угрюмый такой... Только добрый, страшно добрый... я такого доброго человека еще и не встречала.

Женечка, пристально и лукаво кося черными блестящими глазами, посмотрела на Марию Павловну. Больная поняла взгляд и мило, как девушка, застыдилась. Легкая краска набежала на бледные щеки, и на прекрасных, расширенных болезнью глазах выступили слезы.

– Напрасно так смотришь... сказала она с печальной шутливостью. – Мне уже поздно думать об этом.

И она машинально, точно показывая, приподняла и опустила свои прозрачные восковые руки.

Здесь много интересных людей, вдруг неожиданно заговорила Нелли, не то для того, чтобы отвести разговор, не то тая какую-то свою мысль. – Доктор Арнольди вас познакомит, он всех тут знает.

Мария Павловна с испугом следила за Нелли. Как-то разом и она, и Женечка поняли, о ком она говорит. По лицу Женечки скользнуло немного жестокое любопытство. Мария Павловна протянула руку, словно хотела сказать:

– Милая, бедная моя девочка... Не надо об этом! Но Нелли еще больше сдвинула тонкие брови и с бледным напряженным лицом продолжала:

– Пусть он вас познакомит с Сергеем Николаевичем... Михайловым.

– А это кто? – спросила Женечка.

Мария Павловна страшно заволновалась, и на щеках у нее загорелись зловещие пятна.

– Нелли, зачем вы...

– А почему и нет? – мрачно глядя перед собой горящими глазами, жестко возразила Нелли и, повернувшись прямо к Женечке, с вызовом dokonчила: – Это человек, которого я любила... Вот, познакомьтесь с ним... Мне интересно.

– Что же тут интересного?

– Так.

Нелли произнесла это слово тоном неопределенной угрозы. Женечка посмотрела на нее с недоумением и улыбнулась гордой презрительной усмешкой. Мария Павловна взглянула на ее черные блестящие волосы, на черные брови, на румяные губы, на всю ее гибкую и сильную фигуру, остро обрисованную красным платьем, и подумала: «Ну, этой не страшен никто... Беденькая Нелли!»

– Вы напрасно смеетесь! Это будет интересный опыт! – совершенно серьезно, но недобро заметила Нелли.

Женечка засмеялась, встала и потянулась, заломив гибкие руки.

– Какая вы странная! – протянула она лениво и загадочно. – Вы, кажется, хотите мной для каких-то своих целей воспользоваться?.. Это любопытно. Ну, что ж... покажите мне своего Сергея Николаевича, хотя это, право, смешно... В первый раз меня видите...

Нелли, упрямо сдвинув брови, молча смотрела на нее.

Женечка, выпрямившись во весь рост, сильная и гибкая, как натянутый лук черного дерева, стала посреди комнаты и хотела что-то еще сказать, как дверь тихонько отворилась, и на пороге показалась громадная грузная фигура доктора Арнольди. Женечка остановилась на полуслове и так и осталась посреди комнаты.

– А вот и доктор! – радостно вскрикнула Мария Павловна и вся расцвела нежной улыбкой, похожей на последний лепесток опавшего цветка.

Входите, милый... А у меня радости. Женечка приехала! Вот познакомьтесь, доктор Арнольди, Евгения Самойловна Уздальская... С Нелли вы уже знакомы.

Доктор Арнольди поздоровался и сел. Лицо его было еще более угрюмо и обрюзгло, чем всегда.

Сразу не нашлись, о чем говорить. Доктор Арнольди внимательно и серьезно рассматривал трех женщин, Мария Павловна кротко улыбалась своей бледной умирающей улыбкой. Нелли сидела неподвижно и прямо, скорбно сдвинув тонкие брови, Евгения Самойловна отошла к окну и села. Она все еще немного волновалась, не знала, сердиться ей на Нелли или нет, часто дышала высокой грудью и блестела черными, всегда как будто влажными глазами.

– Надолго приехали? – спросил доктор Арнольди.

Она оглянулась на него и улыбнулась: доктор ей понравился.

– На все лето, если Маша не прогонит... Надоело мне по кулисам болтаться, пора и отдохнуть...

– Это ваша сценическая фамилия?

– Нет, настоящая...

– Вы полька?

– По отцу полька, по матери еврейка... жидовка! – сказала Евгения Самойловна и звонко рассмеялась.

Старый доктор невольно ласково улыбнулся ей.

– Вот, доктор, – сказала Мария Павловна, – вы должны позаботиться, чтобы моя Женечка здесь не скучала. Познакомьте ее с вашими приятелями, у вас ведь их много!

– Это можно, – согласился доктор Арнольди равнодушно, потом опять посмотрел на Евгению Самойловну и повторил дружелюбно: – Можно... Пусть Евгения Самойловна придет к нам в клуб, там много народу бывает.

– Как же я одна пойду? – весело спросила Женечка.

– Зачем одна?.. Я за вами зайду.

– Я могу пойти с вами, – неожиданно отозвалась Нелли.

И доктор, и Мария Павловна одновременно взглянули на нее и переглянулись.

– Ах, да... – буйно захохотала Женечка. – Ведь вы же хотите со мной какие-то опыты производить... Ну, так вы же меня и вывозите в свет!

– Да, – коротко ответила Нелли, не меняя сурового выражения лица и голоса.

«Это, наконец, странно... Чего ей надо?» – подумала Евгения Самойловна и высокомерно посмотрела на Нелли.

Но лицо молодой беременной женщины не тронулось, точно оно было высечено из камня в одном вечном выражении жестокой и тайной мысли.

«Какой-то сфинкс!» – с невольным жутким чувством подумала Евгения Самойловна и отвернулась. Несколько времени она сидела молча, задумавшись.

Доктор Арнольди переводил глаза с одной на другую и невольно сравнивал их.

Евгения Самойловна, вся в свете и движении, точно рвалась вперед, к неведомому счастью, которое должна дать ей зовущая и манящая жизнь. В предчувствии его все ее тело, сильное, молодое, богатое, томилось и дрожало, ни одной темной черты не было в ней, все было ярко и бурно. Рядом с нею бледная Нелли казалась темной, как сама скорбь. Она сидела прямо, крепко сжав на груди тонкие руки, точно что-то удерживая в ней. Должно быть, все впереди и позади казалось ей сплошным страданием и росла в ней неутолимая ненависть. И тихим светом свечи, зажженной перед неисповедимым престолом судьбы, вся кроткая и светлая в своей покорной печали горела Мария Павловна. Для нее уже все было кончено: жизнь, с ее счастьем и горестями, давно ушла от нее, и, должно быть, она уже понимала, как слабы и жалки и бурная жажда жизни, и неистовое проклятие ей, потому что одинаково печально улыбалась и буйной Женечке, и суровой Нелли, и старому унылому доктору Арнольди.

Евгения Самойловна не могла сидеть спокойно. Она встряхнула головой, точно отгоняя от себя какие-то неприятные мысли, и принялась беззаботно болтать с доктором и Марией Павловной. У нее был красивый веселый голос, блестящие глаза, от нее веяло свежестью молодости, силы и удали, и даже угрюмый доктор немного оживился.

А Нелли сидела молча и о чем-то напряженно думала. Тонкие брови ее шевелились, как две черные пиявки на белом песке, и в углах сжатых губ ходила неуловимая судорога. О ней почти забыли, когда вдруг она заговорила, глядя на Марию Павловну и на доктора Арнольди:

– Почему вы удивились, что я хочу идти с Евгенией Самойловной в клуб?.. Разве вы думаете, что мне нельзя показываться?

Глаза ее смотрели пытливо и зло.

Такой мысли не было ни у доктора, ни у Марии Павловны, но почему-то оба смутились.

– Нет, почему же, – уныло сказал доктор Арнольди.

– Нелли, как вы можете это говорить! – вскрикнула Мария Павловна.

– Нет, вы это думали! – жестоко возразила Нелли, встала и пошла из комнаты. Оставшиеся долго молчали.

– Боже мой, какая она несчастная! – сказала больная.

– И странная какая-то. Она ненормальна! – отозвалась Евгения Самойловна.

Доктор Арнольди тяжело вздохнул и встал.

– Мне пора идти, – сказал он. – А она – только несчастна. Когда люди в ее положении, загнанные и затравленные, бывают нормальны и расчетливы, то это или погибшие, или глупые люди...

– И вашему Михайлову не простится это! – сказала Мария Павловна.

Доктор Арнольди поискал в своем старом сердце суда, ничего не нашел и только пожал плечами.

Вместо него отозвалась Евгения Самойловна.

– Странно, право, ты рассуждаешь, Маша! – с какой-то даже злобой, жестко возразила она. – Она не девочка, и сама должна была знать... а он был бы глуп, если бы занимался обереганием девичьих сокровищ... Это ее дело.

– Да... А теперь что ей делать?..

– Ах, Маша... что делать!.. Ну, утопиться, если ни на что больше сил нет!..

– Эго не так просто, Женечка! с ласковой укоризной возразила больная.

Евгения Самойловна не отвечала, но в ее черных глазах сверкнула жестокая ко всякой другой женщине и все прощающая мужчине молодая жадность. Казалось, что она ревновала, еще не зная к кому, за одно то, что какая-то другая, красивая и молодая, знала любовь.

Доктор Арнольди взял шляпу и подошел прощаться с Марией Павловной.

– Сегодня я еду за город к больному... до завтра, – сказал он и с кривой улыбкой прибавил тихо, чтобы не слыхала Евгения Самойловна: – Предупредите Нелли, что сегодня хочет быть у нее Арбузов.

Мария Павловна со страхом посмотрела на него.

ХІІІ

Евгения Самойловна проводила доктора до калитки. Они шли медленно, и она весело и даже несколько игриво расспрашивала его о городе, об интересных молодых людях и развлечениях. Но когда они отошли настолько, что из дома нельзя было слышать, Женечка остановилась и тронула доктора за рукав пиджака таинственным, тревожным жестом:

Скажите, доктор, в каком, собственно, положении Маша?

Доктор Арнольди помолчал, точно обдумывая.

– В отчаянном, коротко и уныло ответил он.

– И никакой надежды?

– Никакой, – резко, почти сердито оборвал доктор Арнольди.

Евгения Самойловна схватила его за руку, и красное, как будто всегда возбужденное лицо ее выразило испуг. Но, должно быть, ей все-таки не совсем были понятны слова доктора в их решительном и ужасном смысле: ей, молодой, здоровой, взволнованной жизнью, сразу было трудно почувствовать близость смерти.

– А вы не ошибаетесь, доктор? – как будто прося не пугать ее, жалобно возразила она. – Неужели же никакой?.. А может быть, она еще поправится?.. Она так молода... Вы посмотрите, как она смеется... и глаза у нее совсем живые... Ведь чахоточные иногда долго живут... Я знала одного художника...

Доктор Арнольди упрямо покачал головой и сказал совсем глухо:

– Она и месяца не проживет.

Потом с жалостью посмотрел в ее живые блестящие глаза, которым так не хотелось видеть страданий и смерти, и потупился.

Евгения Самойловна долго испуганно глядела на него. Глаза у нее стали круглые, как у кошки, когда она видит что-то страшное.

Вдруг толстое лицо доктора Арнольди странно исказилось. Как будто всегдашняя маска равнодушия спала, и под нею оказалось живое, страдающее, плачущее лицо человеческое. Он несколько времени упорно смотрел ей прямо в глаза, и нижняя челюсть его дергалась, точно с невероятным усилием он старался что-то выговорить и не мог. Потом коротко махнул рукой и, не прощаясь, быстро пошел в калитку.

Евгения Самойловна осталась на месте и долго смотрела ему вслед, все так же испуганно округленными глазами.

XIV

В сумерки, когда потемнело небо, легла пыль, с громом и звоном подкатила арбузовская тройка.

Мария Павловна одна сидела у окна и смотрела вверх, туда, где верхушки деревьев тихо темнели в догорающем небе. Бог знает, о чем она думала в эти минуты, и никому никогда не узнать и не понять печали умирающей молодой жизни.

Евгения Самойловна ушла гулять и смотреть городок. Целый день она просидела с больной и устала. Потянуло на свежий воздух, посмотреть на здоровых веселых людей.

Арбузов вошел во двор, пошатываясь, широко и крепко расставляя ноги в лакированных сапогах. Красная рубаха, поддевка нараспашку и белая фуражка на затылке придавали ему вид удалого кулачного бойца. Только черные – воспаленные глаза были невеселы.

Мария Павловна видела его, но ничего не сказала, только покачала головой. Она не знала Арбузова, но сразу догадалась, что это он.

Арбузов постучал в дверь комнаты Нелли. Она не отозвалась. Тихо было за дверью, и напряженное молчание стояло кругом. Сгущались сумерки, жуткие тени ползли из сада на ступени крыльца.

Арбузов постучал опять. Что-то тихо шевельнулось за дверью и замерло. И Арбузов почувствовал, что она не только знает, кто это стучит, но даже как будто видит его сквозь дверь. Странное бешенство овладело им, он крепко рванул дверь. Она не была заперта и мягко отворилась.

Нелли стояла у стола. В сумраке было видно ее бледное лицо с темными бровями и белые руки, беспомощно опущенные вдоль черного платья, сливавшегося с темнотой. Она не двинулась, не сказала ничего, даже не опустила головы и сурово смотрела прямо в лицо Арбузову.

– Нелли! – хрипло проговорил он. – Нелли!.. – повторил еще тише и замолк, точно горло перехватило.

Нелли не ответила и по-прежнему молча смотрела на него.

Арбузов постоял на пороге, потом тряхнул головой, лицо его исказилось уродливой усмешкой, и он вдруг шагнул в комнату. Нелли вздрогнула и опять замерла. Только лицо ее совсем побелело.

– Здравствуй... Не ждала? – криво усмехаясь, спросил Арбузов. – Давно мы не видались!.. Что ж, не рада мне?

Нелли молчала.

Арбузов засмеялся.

– Может быть, я некстати?.. Скажи, я уйду... Я только повидаться хотел. Что ж, Михайлов бывает у тебя?.. Нет?.. Еще бы!.. А я вот пришел... Нелли... Трудно было решиться, три дня без просыпу пил, а все-таки пришел. Глупо... Противно... А пришел. Что ж ты молчишь?.. Я ведь ничего... Я же не оскорбил тебя тем, что пришел... Так, просто захотелось... Ты не бойся, я ничего такого не скажу... Что тут говорить! Что с возу упало, то пропало. Только больно, что полгода тому назад ты меня совсем не так встречала... Помнишь? Забыла, конечно!.. А я все помню!.. Да что же ты молчишь, говори, ну!

– Мне нечего говорить, – тихо ответила Нелли. Арбузов опять хрипло и коротко рассмеялся. Когда он шел к Нелли, он думал, что не будет говорить о прошлом, не будет упрекать и обижать ее. Но то слепое пьяное бешенство, которого боялись все, кто знал его, начинало подыматься с неожиданной силой. При виде этих знакомых, таких милых и таких изменчивых глаз, этих губ, этих волос и всего ее тонкого, гибкого тела, опять ярко, как в прошедшие бессонные ночи, когда он боялся сойти с ума, Арбузову представилось, что другой обнимал ее, брал, как вещь, как проститутку. Почему-то ему казалось именно так: как проститутку. И от

этой мысли, от представления ее нагой в руках другого мужчины, в голове его поплыл злое- щий кровавый туман.

– Ну, конечно, ничего! – с нечеловеческим усилием удерживая желание со всей силы ударить ее по лицу, сквозь зубы проговорил Арбузов. – Дело простое... У женщин это просто: сегодня одного целовала, завтра с другим спать пошла... Пустяки!.. А что я... что у меня... вот тут горит... какое тебе дело!

Арбузов уже не знал, что говорит. Он только с ужасом чувствовал, что катится в какую- то пропасть, что оскорбляет ее, что между ними уже навсегда вырастает стена. И в то же время невыносимое жгучее желание оскорблять, мучить, унижать ее, как последнюю тварь, точно толкало его. Он говорил медленно, точно подбирая слова и страдая, что нет слов еще оскор- бительнее, грубее и гаже.

– А?.. Ну, и что же?.. Как у вас... Много удовольствия ему доставила?.. Хорошо ли обни- мались?.. Доволен остался?.. Что-то уж очень скоро бросил. Должно быть, любовница из тебя не очень-то... может быть, и я зря мучился... Не стоит?.. Надо у него спросить... Это инте- ресно... а?

Нелли молчала, и было что-то страшное в этом издевательстве, когда она не защищается, не отвечает, молчит и стоит, беспомощно опустив тонкие белые руки.

– Молчишь? – хрипло продолжал Арбузов, почти задыхаясь от ненависти. – Ну, что ж, молчи!.. И в самом деле, что тут скажешь!.. Ну, и ладно... Ты молчи, а я буду говорить... Я все-таки долго молчал... Так я говорю, а?

Нелли молчала.

– Да, – медленно, со страшной жестокостью терзая себя и ее, говорил Арбузов, – тебя, я слышал, поздравить надо, а?.. Надо поздравить?.. Да говори же!

Нелли молчала.

С минуту Арбузов ждал. Перед глазами у него крутились какие-то красные пятна, в груди не было воздуха, руки сжимались для страшного удара. Казалось, что он не вынесет уже ни одной минуты этой муки, что произойдет что-то ужасное, непоправимое. И вдруг он увидел, что Нелли плачет.

Она стояла тонкая, бледная, опустив руки, со странным, напряженным и суровым лицом. И по этому лицу кагились слезы. Тихо, без звука.

В глазах Арбузова потемнело, что-то со страшной силой сжало его сердце, и, забывая все, чувствуя, что нет в нем ни ненависти, ни ревности, ни злобы, он, шатаясь, как пьяный, сделал два шага, протянул руку и тяжело рухнул на колени, хватая ее за руки. В эту минуту он все простил, все забыл, видел только ее, любимую, несчастную девушку, обиженную и оскорб- ленную всеми, которую оскорбил еще и он.

– Нелли! – хрипло крикнул Арбузов и воспаленными губами прижался к ее руке. – Про- сти, я с ума сошел... прости!

Нелли не вырвалась, не отшатнулась, только губы ее задрожали. Она подняла глаза и с непонятным выражением боли, ужаса и какого-то безумного восторга смотрела прямо перед собой.

– Не могу... – бормотал Арбузов как помешанный. – Не могу больше... Прости... пожа- лей же!..

Нелли молчала.

Арбузов, шатаясь, поднялся. Лицо его было бледно, черный клок волос повис на лбу, глаза смотрели с пьяной, нечеловеческой скорбью, с мольбой.

– Может, забудем?.. Ничего не было... все по-прежнему... Нелли? – проговорил он с отчаянием.

Нелли вдруг подняла обе руки ко лбу, заломила пальцы, и лицо ее с закрывшимися гла- зами исказила такая судорога боли, что даже зубы оскалились и блеснули в сумраке.

– Зачем это... Боже мой, зачем! – сказала она тихо, так, что Арбузов едва слышал.

– Слушай, Нелли, – мрачно и как будто торжественно заговорил он, – не могу я жить без тебя... Ненавижу, презираю, а... не могу! Понимаешь, не могу!.. Думал, забуду, пьянствовал, безобразничал, скверно жил... гадости делал... За тебя другие пропали... Деньгами, силой брал... Сколько жизней изуродовал... Пропали ни за что!.. Все зря... Опять к тебе пришел. Что это такое? Сумасшествие, что ли?.. Не могу... Все забуду, все прощу, только...

– Это невозможно! – с усилием ответила Нелли.

– Почему?.. Думаешь, не забуду?.. Забуду!.. Вот так сердце сожму и забуду... Буду любить, ласкать, как ребенка... Нелли моя!.. Милая, солнышко мое!.. Или, может, ты его любишь еще?..

Нелли вздрогнула, губы ее шевельнулись в какой-то мучительной судороге.

– Нет, – ответила она и повторила почти со злобой: – Нет!

– Правда? – радостно крикнул Арбузов. – Я знаю, ты никогда не лжешь... Правда?.. Так что ж... едем... Нелли... со мной?..

– Нет, – глухо ответила Нелли.

– Да почему же?.. Меня не любишь?.. Ну, так друзьями будем, вместе жизнь кончать будем... Ведь ты своего сердца не знаешь... Ведь ты... ты пропадешь так, а я за тебя...

– Этого никогда не будет, – ответила Нелли.

– Да ты сумасшедшая, что ли? – как будто со страшной ненавистью крикнул Арбузов. – Чего ты ломаешься... чего хочешь?.. Чтобы я себе пулю в лоб пустил, что ли?.. Ведь это на смерть толкать!..

Нелли вдруг коротко и нехорошо засмеялась.

– Глупее этого вы ничего придумать не могли?.. Немного не с того конца начинаете!..

Арбузов вздрогнул и отшатнулся. Ему показалось, что он ослышался, или не так понял, или она с ума сошла.

– Что ты хочешь сказать?

Нелли продолжала смеяться тихим загадочным смехом.

Арбузов шагнул к ней, приблизил свою тяжелую лобастую голову к ее лицу и впился в самые зрачки темных немигающих глаз. Близко-близко смотрели на него такие огромные, странные и страшные вблизи, эти круглые, черные зрачки, в которых прячется душа человеческая. В глубине их что-то шевелилось неуловимыми, ускользающими движениями, точно на дне пропасти, во мраке, скользко шевелилась притаившаяся змея.

– Ну, договаривай, ну? – хрипло пробормотал он.

Нелли совсем расхохоталась, звонко и весело, оттолкнула его, отошла к окну и села. Уголки ее сжатых губ подергивались, глаза смеялись мрачным, злым смехом.

– Ничего я не хочу!.. Оставьте меня все в покое... Я никого не трогаю.

Арбузов остался на месте, низко опустив голову и свесив крепкие сильные руки.

– Слушай, Нелли, – заговорил он, глядя в сторону, – тут шутить нечего... Я понимаю... Может, и в самом деле раскроить ему башку на месте... да и себе к стати... Лучше не придумаешь... Да ведь что ж из того? Все равно этим не поправишь... Да и ты, пожалуй, меня же возненавидела бы тогда... У, проклятая женская душа!..

Нелли молчала.

Арбузов неровно тронулся с места, подошел к ней и опять опустился на колени, как маленький, положив на ее черную юбку свою большую кудрявую голову. Под жесткой материей задрожали мягкие теплые женские колени. Прошло несколько минут, и вдруг ласковая легкая рука любовно и нежно стала гладить его спутанные упрямые волосы. Он только вздрогнул и еще крепче прижался щекой к ее коленям.

– Милый, бедный мой, славный!.. – тихо, точно баюкая, шептала Нелли, и странен был ее печальный ласкающий шепот, еле слышный в сумраке и тишине вечера.

Она смотрела поверх его головы широко открытыми темными глазами, и невидимые слезы опять тихо побежали по ее бледным щекам.

– Любимый!

Арбузов быстро поднял голову. Слезы бесконечной жалости и любви залили его сердце. Губы его, как бы против воли, встретились с мягкими, горячими от слез женскими губами. Что-то запело кругом, пошатнулись стены, пол медленно поплыл из-под колен. Все пережитое, ревность, горе, злоба, все, что было, куда-то ушло, осталось только это милое, сладкое, беззащитное тело женщины, мягко и покорно поддававшееся в его железных руках.

– Милая, золотая моя, любимая!.. – шептал Арбузов, целуя ее горячие губы, мокрые щеки, мокрые глаза, волосы, грудь.

– Так ты меня любишь?.. Любишь?.. Простишь?.. За все?.. – тихо, как в бреду, несвязно говорила Нелли, прижимаясь к нему всем телом.

И вдруг Арбузов почувствовал щекой ее пухлый, большой живот, круглый, отвратительный. Страшная судорога отвращения оттолкнула его. Мучительным усилием, почти сходя с ума, чувствуя, что губит все, Арбузов хотел заставить себя обнять ее опять, обнять еще крепче, сжать до боли, задавить и ее, и свое отвращение в этих объятиях, и не мог.

– А-а! – застонал он.

Нелли, уронив руки, соскользнувшие с его шеи, смотрела на него блаженными непонимающими глазами и вся тянулась к нему. Арбузов схватился за голову. И вдруг страшная бледность разлилась по ее лицу, глаза стали понимающими, острыми, гордое и злое выражение прошло в них. Нелли медленно встала.

– Уйдите! – холодно проговорила она. В бешеном порыве отчаяния, чувствуя, что все рушится, Арбузов кинулся к ней, хотел силой обнять.

– Нелли, прости... Но ведь я не могу... сразу забыть... Ты должна же понять... Нелли!

– Нет, этого никогда не прощают, Захар Максимович, – холодно возразила Нелли. – И вы не такой человек... Уйдите, оставьте меня в покое... Мне же больно! – с отчаянием крикнула она.

– Никогда! – ответил Арбузов, и голос его дико разлетелся по всему дому.

– Э, полноте... – с усмешкой возразила Нелли. – Это все говорят.

– Все не я!

– А вы не такой, как все?.. Я сама подумала, а теперь вижу, что ошибалась... Чего вам нужно от меня?.. Моего тела?.. Да берите его вес, будь оно проклято!.. Только оставьте меня... Ну, что?.. Вы хотите, чтобы я была вашей любовницей?.. Хорошо!.. Берите! Берите же!.. Сейчас!.. Ах, Боже мой, хоть бы умереть скорее!

Арбузов хотел что-то сказать, но голос его сорвался. Вдруг всем существом своим он понял, что на этот раз все кончено.

Нелли ждала. Быть может, в эту минуту довольно было бы одного его слова, одной маленькой ласки, чтобы сердце ее, ожесточенное и больное, растворилось в бесконечной любви. Но Арбузов молчал. И Нелли услышала, что он плачет.

Арбузов сидел у окна, на том месте, с которого встала она, и, положив голову на руки, плакал. Хрипло и сипло, как собачий лай, вырывались звуки странного мужского плача. Нелли, как безумная, кинулась к нему, но остановилась и заломила руки.

– Да перестаньте вы! – крикнула она в отчаянии. – Как вам не стыдно... Я вас когда-то не таким... Вы, Арбузов, плачете оттого, что женщина любит другого...

– Что? – машинально переспросил Арбузов. В глазах Нелли мелькнула какая-то отчаянная мысль.

– Ну, да, любит...

Она помолчала, как бы собираясь с силами, и вдруг рассчитанно и жестоко dokonчила:

– Любит! Все-таки любит!.. Слышите, это я лгала вам, что разлюбила... Слышите?.. Люблю!.. Ненавижу, а люблю... Одного его люблю... А вы... мне смешны... Слышите? Смешны! Он взял все и бросил... это мужчина! А вы плачете, как баба... Я люблю его, слышите, люблю!.. Захочет он, я от вас к нему на коленях поползу!.. Как собака!.. Слышите же, ну?

Сильная рука в страшной судороге сжала ее горло. В глазах Нелли помутилось, красные круги поплыли куда-то мимо.

– А-а... – бешено хрипел Арбузов. – Так ты еще издеваться... Убью... блядь несчастная!..

Нелли не сопротивлялась. Темные волосы ее рассыпались по худеньким, хрупким плечам, вся она изогнулась, как тростинка, инстинктивно стараясь удержаться на ногах. Лицо посинело, глаза вылезли из орбит, оскаленные зубы блеснули в темноте. Она захрипела.

Вдруг Арбузов страшным толчком отбросил ее в сторону. Нелли ударилась боком о стол, схватилась за скатерть, поскользнулась и, стянув все со стола, упала на пол. Арбузов кинулся к ней. В ужасе, жалости, любви и стыде едва не разорвалось его сердце.

– Нелли! – отчаянно крикнул он. Ему представилось, что он убил ее.

Нелли приподнялась и села, как будто спокойно, подняв руки и подбирая волосы. Она что-то сказала, но так тихо, что Арбузов не расслышал.

– Что?.. Нелли, прости, прости... я с ума сошел!.. – бормотал он, плача и стараясь поднять ее.

– Жаль, что не задушил! – тихо проговорила Нелли и засмеялась.

Арбузов схватился за голову и без шапки бросился вон из комнаты.

– Зоря! – крикнула Нелли как потерянная и на коленях поползла за ним. Но Арбузов не слышал.

XV

Тройка ждала его, но Арбузов не заметил и прошел мимо, охватив голову руками, шатаясь. Впотьмах он наткнулся на тротуарный столбик, в кровь разбил колено, но не заметил и этого.

Кто-то окликнул его:

– Захар Максимович!.. Куда вы... без шапки?.. Что случилось?..

Арбузов поднял голову, узнал белый китель и длинную серую шинель корнета Краузе и засмеялся как сумасшедший.

– Что с вами? – серьезно спросил корнет.

– Ничего, друг!.. А шапки не надо... В жизни, оказывается, можно и без сердца обойтись, так что уж тут – шапка!..

Корнет Краузе внимательно и серьезно выслушал этот исступленный бред.

– Пойдемте ко мне, – сказал он. Арбузов опять рассмеялся...

– Думаешь, с ума сошел?.. Нет, брат, такие люди, как я, в том-то и горе, никогда с ума не сходят... Все вытерпят, подлецы, все перенесут, а... Пойдем, что ж... Водка у тебя есть?

– Есть вино, – сказал корнет Краузе, внимательно приглядываясь к Арбузову.

Какое тут, к черту, вино!.. Водки надо!

– Будет и водка, – согласился корнет Краузе.

– Ну, идем.

– За вами лошади едут, – заметил Краузе, – их надо отправить домой.

– Лошади? А, да, пусть едут к черту! – махнул рукой Арбузов.

– Нет, это неудобно, – возразил корнет, подошел к тройке и приказал кучеру другой улицей подъехать к своей квартире. Потом вернулся к Арбузову.

Арбузов стоял у забора, прислонившись к нему лбом.

– Готово, можно идти, – сказал Краузе, трогая его за плечо.

– А?.. Да, можно, можно, брат... – ответил Арбузов, и вдруг, бессмысленно улыбаясь, сказал: – А я, брат, сейчас чуть человека не убил...

Корнет Краузе выслушал внимательно.

– Хорошо. Это потом. Все-таки не убили?.. Идем. Он взял Арбузова под руку и повел. Арбузов шел послушно, спотыкаясь на каждом шагу.

– Тут столбик, не ушибитесь... Теперь сюда... Ну, вот и пришли... Недалеко... – говорил корнет, отворяя калитку и пропуская Арбузова вперед.

В сенях флигеля, где жил корнет Краузе, было темно, пахло солдатским борщом и шинелью. Корнет нашарил ручку двери, впустил Арбузова, нашел спички, зажег лампу и, на ходу снимая шинель, вышел опять в сени.

– Захарченко! – крикнул он кому-то и потом шепотом долго говорил.

– Слушаю, ваше благородие, так точно... – отвечал солдатский голос. Краузе вернулся.

– Сейчас будет водка, – сказал он.

Арбузов стоял посреди комнаты, там, где его оставил корнет, и смотрел в пол. Краузе подумал, взял его за плечи и посадил у стола. Арбузов сел покорно и, точно в первый раз увидев, со странной, болезненно любопытной улыбкой оглядывал комнату.

– А у тебя тут хорошо, – добродушно сказал он.

– Да, я недурно устроился, – согласился корнет Краузе, – я люблю комфорт.

Комната была большая, даже чересчур большая для одного человека. Кровать стояла за перегородкой, у стены был широкий турецкий диван, большой письменный стол блестел превосходным мраморным прибором, была качалка, волчья шкура на полу и ковер над диваном. На ковре металлическим полукругом висели шашки, ружья и револьверы, тускло отсвечивая

никелированными частями. В углу стоял пюпитр с нотами, и странная, длинная шейка виолончели загадочно выглядывала из чехла. Пахло духами и табаком.

Вернулся денщик, принес водку, рюмки, тарелки с какой-то соленой закуской, поставил на стол и ушел.

– Сейчас подадут самовар, – сказал корнет Краузе.

– Самовар?.. А, ерунда!.. Выпьем вот лучше водки, – возразил Арбузов, налил и выпил. Краузе к своей рюмке не притронулся. Арбузов выпил еще и еще.

– Слушай, корнет, ты в любовь веришь? – вдруг спросил он, криво усмехаясь.

– Я никогда не любил и потому ничего определенного сказать не могу, – ответил Краузе.

– Не любил? Ну, твое счастье!.. А так, вообще, веришь, допускаешь?

– Конечно, я не могу не допустить этого чувства, – сказал корнет Краузе. – Это, должно быть, очень сильное чувство! – подумав, рассудительно прибавил он.

– А я, брат, любил... Выпьем, а?

– Выпьем... Я знаю. Вы очень несчастный человек, – заметил Краузе.

Арбузов уставился на него, прищурился одним глазом.

– Знаешь?.. Ну, ладно... А несчастным мне, Арбузову, не бывать!.. Это просто блажь, Краузе... Пройдет!.. Вот выпьем и пройдет!

– Каждый человек может быть несчастным, – рассудительно возразил корнет. – Хотя вы, Арбузов, и богатый человек, но можете страдать, как и всякий другой человек. И этому нельзя помочь выпитой водкой.

– Говоришь, все несчастные?.. Да верно ли?.. Нет ли счастливых?.. Ну, те, кому все в руки дается?.. И талант, и успех, и... к кому любимая женщина на коленях ползет, только свистни...

– Это еще не счастье, – возразил корнет, – талант – больше, я думаю, страдание, чем счастье, успех – дело относительное, а одна женщина не может наполнить всю жизнь.

– А мою вот наполнила.

– Это вам только кажется так. Потому что вы избалованы с детства и абсолютно праздны. Вы привыкли, что все ваши желания удовлетворяются, и когда вам не дали того, чего вы хотели, вам уже кажется, что все погребло и счастье только в этом... в этой женщине. Но это только так... а если бы эта женщина вас полюбила, она бы уже не значила для вас так много и, может быть, даже мешала бы вам жить.

Арбузов слушал, понурившись, свесив на лоб клочок черных волос.

– Я, конечно, не любил, как вы, но я много думал над жизнью и любовью и пришел к заключению...

Арбузов вдруг засмеялся.

– Ах ты, немчура, немчура... аккуратная!.. Размышлял, к заключению пришел, сложение и вычитание произвел... что же получилось?.. Тут, брат, не придешь к заключению... Тут не размыслишь, вычитания не произведешь... когда тебя самого вычитают вон... А ты знаешь, что такое любовь?

– Я уже сказал вам, – начал было корнет Краузе.

– Стой, подожди! – перебил его Арбузов, хватая за руку и пригибая книзу. Я тебе скажу... Любовь, это, брат... когда ты разум теряешь, когда сердце болит, вот тут горит... Когда ты и ревнуешь, и ненавидишь, и презираешь, и жить не можешь без нее... Когда ты полюбишь, ты на весь свет начнешь смотреть сквозь нее... Будешь целые ночи под окнами стоять, будешь ноги целовать, все простишь, все перенесешь... даже будешь желать, чтобы тебе еще больней было!.. По ночам будешь плакать, если женщина брови нахмурит и не приласкает, будешь сам петь и смеяться, если ласково поцелует при прощании... Будешь пить, развратничать, проститутку мучить, а потом умоешься, причешешься, придешь чистенький, тихонький и будешь в глаза смотреть, как собака!.. За горло схватишь, не задушишь... будешь бить и мучить, а потом плакать от жалости, каждое ушибленное тобой место целовать... а потом...

Я не знаю... что вы говорите?.. Это какое-то сумасшествие! – сказал корнет Краузе с отвращением. Арбузов еще крепче схватил его за руку.

– Ах ты, бедная немчура! Да ведь в том-то и счастье, что сумасшествие... Если бы ж совсем сойти с ума!.. Если бы самого себя на кусочки резать, а она чтобы смеялась и в ладошки хлопала!

– Какое же это счастье, это страдание!

– А в страдании разве наслаждения нет?.. Ничего ты не понимаешь!.. Размышляй, брат, приходи к заключениям... все равно не поймешь!.. А ты знаешь, когда ты стоишь в темном углу, а она мимо проскользнет, накинув платочек, к другому... Ты стоишь и видишь, сквозь стены видишь, вот она входит, стыдится, краснеет... знает, зачем пришла, зачем она ему нужна...

А он торопится, платье рвет, комкает... Ты, может, во всю жизнь только и видел, что руку ее, а для него она вся голая, бесстыдная. Что хочет, то с нею и делает... валяет по кровати твою святыню, как проститутку... в выдумках изощрается... И она всему подчиняется, благодарит за счастье, что он над нею удостоил натешиться властью... Руку ему целует!.. Потом он устанет, отвалится, папиросу закурит... больше не нужна!.. На дворе светает, она опять мимо тебя проскользнет, как тень... Волосы распущены, платье измято, криво надето... усталая, замученная... А ты все стоишь... все стоишь... Пей, Краузе! – крикнул Арбузов.

Он говорил, как в бреду, и в его бессвязных, прыгающих словах нельзя было поймать смысла.

– Можно выпить, – сказал корнет Краузе, – но все, что вы рассказали, – ужасно. И я не понимаю, как можно это пережить...

Арбузов радостно рассмеялся.

– А, не понимаешь?.. И я не понимаю... Ничего не понимаю, милая ты моя немчура... А вот видишь, пережил...

– Неужели вы...

Арбузов посмотрел на него тяжелым пьяным взглядом.

– Я... – коротко ответил он и крикнул: – Пей, брат, что там... пей!

Краузе налил, и оба выпили. Арбузов задумался, подпер голову рукой. Длинный Краузе сидел молча и внимательно смотрел на него.

– Да, – заговорил Арбузов медленно, как будто приходя в себя и в глубоком раздумье, – это не математика, Краузе... И счастье, и сострадание, и вся жизнь – не математика... Никогда, никогда людям все к одному знаменателю не привести... А следовательно, следовательно... Стой, подожди!.. Я, кажется, совсем пьян... Я три дня в бардаке пил... Впрочем, выпьем еще...

– Можно, – согласился Краузе и налил.

– Слушай, Краузе, – заговорил Арбузов медленно и с расстановкой, – что, если бы я человека убил?..

– Это было бы убийство, – сказал корнет Краузе. Арбузов засмеялся.

– Верно!.. А ты умный немец!.. Конечно – только убийство... больше ничего... То обед, то в ватерклозет пойдешь, а то убийство... только и всего. И не над чем тут мучиться, голову ломать... Убийство, и больше ничего!.. Я однажды собаку убил... из револьвера застрелил... Потом долго спать не мог... Забывать стал, а вдруг среди ночи и вспоминаю, как она вертелась на снегу и ногами дергала. А потом и ничего, забыл... Помню, раза два даже с удовольствием про свои ощущения барышням рассказывал... Даже некоторую гордость чувствовал: убил, мол, и ничего... смотрите, какой твердый человек!.. На охоте тоже... неприятно еще живой птице голову свертывать, а свернешь, и забыл. Пустяки все это, Краузе... убьешь, и никаких... А человек лучше собаки, Краузе?

– Не знаю... не думаю, – ответил корнет.

– И я не думаю... Может, и убью. Вот кого убивать, не знаю: ее, его или себя?.. Как ты думаешь?

– Разумнее всего, по-моему, его... – подумав, сказал корнет Краузе.

– Bravo!.. Именно – разумнее!.. В том-то и дело, что разумнее. А если и его любишь, Краузе?

– Тогда ее... себя...

– Так кого же? – с безумной настойчивостью приставал Арбузов. Глаза у него были мутные.

– Я думаю, себя.

– Почему?

– Потому что если вы ее убьете, то всю жизнь будете страдать от жалости.

– Верно!.. Разве я забуду, как она посмотрела на меня в последнюю минуту!.. Маленькая, слабенюкая будет представляться мне... а я ее убил! Лучше себя, Краузе.

– Да, пожалуй, лучше.

– Ну, а если я себя убью... В последнюю минуту не представится мне, что она через мою могилу к нему пойдет? Я буду в земле гнить, а он ее раздевать будет, какой-нибудь сладострастный номер выдумает. Я помню, Краузе, мне было лет двадцать... была у меня любовница, молоденькая барышня... а гам у нас, на кладбище, был похоронен один офицер, самоубийца. Так я ночью с нею пришел на кладбище и на его могиле... там была большая мраморная плита с горькой надписью... долго мучил ее, на все лады... на холодной, мраморной плите горячее голое тело... ты понимаешь, Краузе?.. И особенное то и было, что вот тут, под нами, лежит мертвец и гниет, а я развратничаю, что ни час гаже, грязнее!.. Она плакала, боялась могилы... религиозная была... а я от этого еще больше в зверство входил. Даже и теперь дрожь берет, когда вспоминаю эту ночь, голое розовое тело на белой холодной плите... Плакала, а не смела противиться... любила... Так вот.

– Да, это ужасно, – сказал Краузе.

– Ничего ужасного на свете нет, немчура... Все пустяки!.. Что ему, мертвецу?.. Там, брат, крышка!.. Какой ужас, какой грех, когда – помрешь, и квит? Вон я помню, отец умер. Лежит на столе, лицо такое важное, серьезное, седая борода кверху смотрит... Стою я и смотрю, плачу... я очень отца любил... Монахиня читает, свечи трещат... ночь. И вдруг думаю: а что, если я его за нос потяну?.. И взял меня ужас... Со стены древняя икона смотрит, только белки блестят... Чувствую, как ноги слабеют и руки немеют... Кажется, что-то ужасное произойдет... с ума сойду, встанет мертвец в саване и проклянет, небо дрогнет, и завеса в храме раздерется... А руку так и толкает... Страшно, сердце замирает, холодный пот на лбу... а рука тянется... Потяну!.. Нет!.. Потяну... Потянул.

– Ну, и что? – с любопытством спросил корнет Краузе.

– Нос холодный был... – вяло ответил Арбузов и замолчал.

Краузе помолчал тоже. Потом вдруг прыснул. Арбузов с удивлением посмотрел на него.

– Чего ты?

Но Краузе залился еще больше. Все его длинное лицо сморщилось, тонкие мэфистофельские брови съежились, рот растянулся до ушей. Арбузову почему-то стало неприятно.

– Перестань, – сказал он, – перестань, ну!.. Но Краузе не слушал. Он вскочил с места, зашагал по комнате, нагибаясь и приседая. Все тело его тряслось от смеха.

– Да что ты! – в пьяном смехе крикнул Арбузов.

– А-ха-ха... а-ха-ха... – заливался Краузе. Он весь посинел, кашлял, сморкался, махал руками.

Странный ужас овладел Арбузовым. Ему вдруг показалось, что это вовсе не Краузе.

– Да замолчи ты! – заорал он, хватая корнета за плечи. – Убью.

Краузе вдруг стих, вытянул физиономию, с достоинством приподнял свои косые брови, сел и сказал совершенно спокойно:

– Может быть, мы еще выпьем?

Теперь Арбузов смотрел на него с любопытством.

– Ну, и немчура проклятая! – сказал он. Наступило молчание. Лампа тускло горела на столе, на скатерти, мокрой от водки, было грязно, как в кабаке, мертвенно поблескивало оружие на ковре. За стеной стояла чуткая ночь, и тоненький синий месяц с грациозной печалью блестел в чистом небе.

XVI

Рано утром денщик разбудил Краузе. Арбузов еще спал на диване, в той комнате, где они пили ночью и где на неубранном столе еще стояли грязные тарелки, стаканы и бутылки. Было душно, пахло водкой, сапогами и перегаром. Арбузов, одетый, лежал лицом вниз на диване, и одна рука его, странно вывернувшись, точно сломанная, свесилась до полу. В щели ставень проходил узенький золотой луч солнца, и радужный пыльный столбик весело дрожал и крутился в сумраке комнаты. Золотая полоска косо лежала на столе, и ярко горела белая звездочка на краю разбитого стакана.

Краузе, тихо двигаясь, чтобы не разбудить гостя, надел чистый китель, серебряную перевязь, шашку и вдруг стал красивым и нарядным, даже немного излишне великолепным.

На дворе было голубое небо, чистый радостный воздух, солнце и громкие, точно омытые утренней росой, звуки.

Было еще очень рано. Солнце светило ярко и низко, под заборами и деревьями лежали голубые сырые тени. В домах почти все ставни были закрыты, и по улицам шли только бабы, с кувшинами и корзинами, на базар. Взапуски, точно передравшись от радости, что так светло и хорошо, чирикали воробьи. Из города долетали редкие однозвучные удары колокола. Звонили к ранней обедне.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.